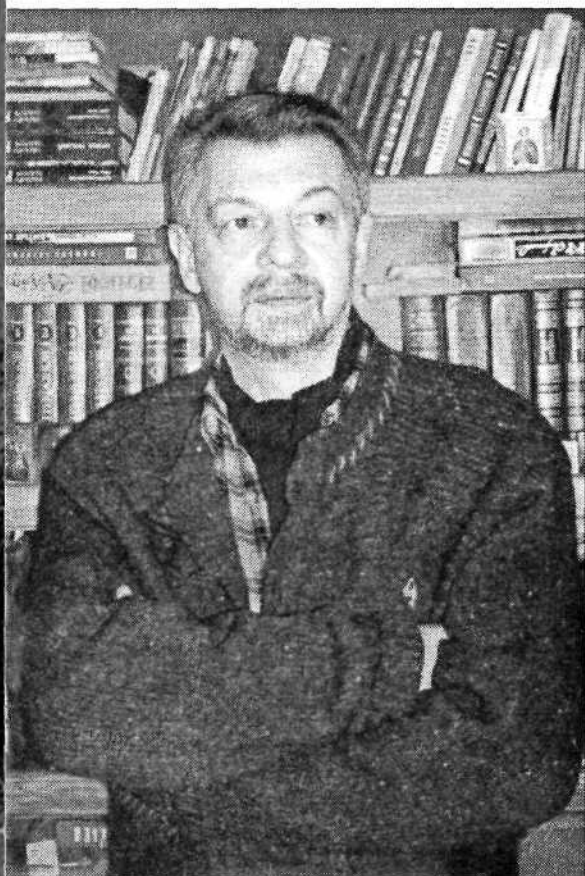


*Строка,
уставшая от странствий...*

*Анатолий
Кобенков*





Анатолий Кобенков

Строка,
уставшая
от странствий...

Мир, Оксана и Андрей
е Блуждания на
дорогу о мой не-
сердце -
отр

[Signature]
ноя, 2003

Стихи
разных
лет

Иркутск
2003

УДК 821.161.1
ББК 84(2=Рус)2
К 55

К 55 Кобенков А. И. Строка, уставшая от странствий...: Стихи разных лет / Сост. В. Науменко, Г. Сапронов. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2003. — 432 с.

Художник Сергей Григорьев

ISBN 5-94535-024-9

© Кобенков А. И., 2003
© Григорьев С. М., оформление, 2003
© Сапронов Г. К., издатель, 2003

Неизбежность начала

От составителей

Большая книга стихов может вызвать законное опасение. Зачем она? Мы привыкли читать в таком формате прозу. Стихи — куда более энергоемкий носитель информации, каждое отдельное стихотворение требует паузы для того, чтобы быть усвоенным.

В книге «избранного» Анатолия Кобенкова около трехсот стихотворений. Как читать ее? Попряд, как роман, как линейную историю, имеющую свой сюжет? В произвольном порядке — перемешивая не только части-десятилетия, но и выхватывая наугад стихи — из начала, из конца, из середины? А может, и вовсе — от конца к началу — от написанного уже в новом, двадцать первом веке к стихам шестидесятих годов века прошлого?

По-видимому, все эти способы равноправны. Суть же в следующем: поэзия требует перечитывания, одного обращения стиху явно недостаточно. Толстый том хорошего поэта обещает (просто количественно обещает) больше открытий, больше радостей для верно настроенного слуха, поводов вернуться к той или иной строчке или строфе. Большая книга предполагает долгое и серьезное общение с ее автором и едва ли затеряется на полке.

И все-таки подступаться к этакому «кирпичу» следует осторожно — это спрессованный пласт нажитых впечатлений, копилка образов и эмоций, вес его — вес времени.

Добавим, что книга Анатолия Кобенкова (а речь в том числе и даже в первую очередь о ней) — результат серьезного и даже жесткого отбора. Убедительнее всего об этом свидетельствуют плотность переживания, густота мысли и слова, неслучайность повода для поэтической речи — все то, что объединяет собранные здесь стихи.

Пять десятилетий пятидесятипятiletнего поэта. Срок немалый. Меняется поэт, меняется время. Меняются они между тем каждый на свой манер, и не стоит искать между строк этой книги частую оглядку автора на эпоху, на диктуемые ею вкусы; зависимость куда сложнее и глубже.

Кобенкова, который был и остается больше лириком, чем эпиком, куда живее интересуется, как смотрит на него любимая женщина, чем родственны ему бабочка и кузнечик, дождь или солнце придут в его город с утра, нежели то, какую медаль повесили на грудь очередному вождю или какая новомодная литературная эра провозглашается со страниц столичных журналов.

Пришедший в литературу в шестидесятых, Анатолий Кобенков, конечно же, не избежал общения со своеобразнейшим институтом советской редактуры. Из-за этого его первые сборники вышли далекими от идеала «книги стихов» в классическом ее смысле. Суть «книги стихов» в глубинной общности, во взаимодействии текстов, которое автор задает уже самим их расположением.

Именно таковы сборники поэта двух последних десятилетий. Для настоящего издания пришлось пожертвовать продуманной структурой каждого из них — стихи были перетасованы заново, хотя, кто знает, может быть, как раз в этом новом сочетании и на куда более обширном пространстве для переключки их внутренняя связь проступит только отчетливее и яснее.

Уровень художника поверяется его способностью эволюционировать. Кобенков, переходя из десятилетия в десятилетие, копил не только уроки и литературное мастерство, но и умение пожертвовать этим мастерством ради большего — поэтической правды и правоты. В то же время он до сих пор меньше всего склонен признаваться в любви к себе, со странным в его лета упорством избегает позы и назидательности.

Его художественная эволюция — настойчивое расширение своего мира, присвоение все новых и новых территорий —

языка, памяти, культуры. От прозрачной по слову, по-детски беззащитной ранней лирики он перешел в том числе и к высказываниям весьма жестким, реминисценциям, бесстрашно вызывающим самые великие тени. В чем-то он столь же сентиментален, что и прежде, но это сентиментальность, поддержанная новым опытом — опытом, жадно пропустившим через себя бездну информации — той, что не объясняет мироздание, но настаивает на его многоэлементности.

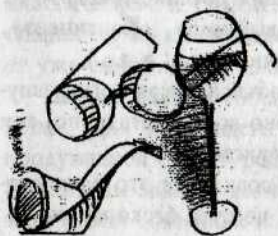
Скажем еще, что сегодня Анатолий Кобенков — весьма значительная фигура в культурной жизни России. Уже несколько лет председатель Иркутского отделения Союза российских писателей, он — организатор Международного фестиваля поэзии на Байкале, редактор многих книг, основатель двух альманахов: «Иркутское время» и «Зеленая лампа». Трудно перечислить всех молодых литераторов, которым он помог. Стихи его, особенно в последние годы, печатаются весьма широко, в лучших российских, да и не только российских журналах («Новый мир», «Континент», «Арион», калифорнийские «Встречи» и т.д. и т.д.).

Эта внешняя канва, ничуть не объясняющая логику внутрипоэтического существования (оно всегда загадочно) тем не менее, куда как важная характеристика.

Перед нами книга созидателя; созидание это распространяется на многое и на многих и по сути бескорыстно.

Неверно считать эту книгу итоговой, правильно — этапной. Да, конечно, она суммирует для автора его XX столетие, но она же открывает его XXI век. В последней части, составленной из совсем новых стихов, в своего рода «книге в книге», есть ощущение распахнутого будущего, чувство продолжения, перехода. А может быть все действительно еще только начинается?

Виталий НАУМЕНКО
Геннадий САПРОНОВ



60

Вечер в провинции



Из книг

«Весна»,
«Улицы», «Вечера»

Весна

Весна.

Я глупенький и маленький,
я в лужи по уши влюблен.
А бабушка мне сушит валенки
и заставляет есть бульон.
Но мне бульон

совсем не нравится,
и я на улицу хочу,
и я весну зубрю,

как правила,
и хлебушек крошу грачу.
Я очень,

очень невоспитанный,
я очень длинный,

я худой,
я почему-то неупитанный,
я пахну лужей и весной.

Я плитку мокрую пинаю,
я синим фантиком шуршу,
я все на свете понимаю.
Я все на свете совершу!
И пусть меня

пихают сумками
и пусть

— по правилам —
опять,
когда звенят капли в сумерках,
меня укладывают спать!

Пусть я лежу в постели теплой,
пусть книжку почитать прошу,
пусть мне читают «Дядю Степу», —
я
сам
уже
стихи
пишу!

* * *

Я школьник.

Я Блока читаю.
Мне нравится Блока читать.
Соседская девочка Таня
на улицу вышла гулять.
Я Блока читать передумал,
я новую ручку достал,
я первую строчку придумал,
вторую —

у Блока списал.
Никто никогда не узнает,
о чем я в тетради писал:
я тихую девочку Таню
своей Незнакомкой назвал.
Я перелетаю ступени —
какая смешная пора:
я школьник,

я нравлюсь апрелю
и всем незнакомкам двора.
Сосулька срывается звонко,
сосулька растает в руке...
Татьяна!

Любовь!

Незнакомка!
Две двойки в моем дневнике...

Весна в седьмом классе

Пахнет первой вербой,
и земля оттаяла,
грач смотреть скворечники
утром приходил...
А Любовь Ивановна
двойку мне поставила,
а Степан Андреевич
двойкой пригрозил.

Пионервожатая
погрозила пальчиком,
а Вадим Сергеевич
маме написал:
«Я не понимаю,
что случилось с мальчиком.
Он не занимается,
двоечником стал».

...Из записки маленькой
получился маленький,
очень замечательный
плавный самолет,
он летит над городом:
— Что случилось с мальчиком? —
целый день волнуется
в городе народ.

...Я стою в учительской,
как солдат у знамени,

ни о чем директору
я не рассказал,
потому что ждет меня
— это точно знаю я —
девочка, которую
я поцеловал...

* * *

Осень. Кажется, сентябрь.
Тихо в комнате. Я болен.
Мама чаем угощает
некрасивого врача.
Я лежу и сочиняю;
хорошо б рассказ придумать
про себя и балерину
с бледной тенью от ресниц.
Я б в конце того рассказа
с балериной целовался,
и она цветы забыла б
в темном парке на скамье...
Осень. Кажется, октябрь.
Я лежу и сочиняю,
как рассказ уже написан,
и рассказ идет в печать,
как рассказ читают люди:
балерины и актрисы,
как рассказ везде ругают:
два журнала, пять газет...
А потом: я снова болен,
в дверь стучатся.
— Заходите.
Тихо входит балерина
с бледной тенью от ресниц...

Маленький тарантас

Холодно в доме не будет:
печь затопили,

и нас
где-то под утро разбудит
маленький тарантас.
Только его мы заслышим,
теплый платок находи:
встанем с тобою на лыжи,
будем на лыжах ходить.
Утренний город встревожим,
лыжам снега отдадим;
встанем у сквера —

прохожий
спросит, чего мы не спим.
Что мы ответим на это?
Мы ему скажем, что нас
будит всегда на рассвете
маленький тарантас...
Плюнем с тобою на холод.
Если не хватит чудес,
бросим заснеженный город,
выйдем в заснеженный лес;
станем будить короедов,
бегать за птицей лесной,
падать на снег,
и к обеду
мы возвратимся домой...
Веточку укачало
у твоего плеча...

Въедем во двор мы устало,
лыжами грохоча.

Скажут друг другу:

— Устали, —

дворники и детвора;

скажут соседи:

— Вы встали

рано сегодня с утра...

Что мы ответим на это?

Мы им ответим, что нас
нынче будил на рассвете
маленький тарантас.

Двери закроют соседи

— им непонятен ответ, —

сядут соседи обедать,

только какой тут обед?

Ложки отложат угрюмо.

Каждый, в себе затворясь,

станет до полночи думать

про маленький

тарантас...

Мы с тобой лыжи снимаем,

ставим их в угол пустой,

мы с тобой все понимаем,

все понимаем с тобой;

знаем, что перед рассветом,

до петухов,

всякий раз

в печке проносится ветер —

маленький тарантас...

Ты не знаешь,
что в ночи длинные,
когда бьется в окно звезда,
мы живем с тобой в маленьком домике
и не ссоримся никогда.
Ты ночами боишься воронов,
и в начале каждого дня
ты мне вкусную кашу варишь,
потому что любишь меня.
А когда засыпают сосны
и когда просыпается мышь,
говоришь мне,
что выюга смолкла
или:

— Суп подгорел, — говоришь.

И когда ты,
 смешная и теплая,
мне напомнишь вдруг о весне,
я кричу,
 что я выбью стекла,
чтобы в комнате падал снег.
И ты будешь белой снегурочкой,
и я буду сугробом большим...
Ну, чего ты пугаешься,
 дурочка!
Мы стекольщику позвоним.
Вот уже приходит стекольщик
очень маленький и седой.

— Я стекольщик, — кричит стекольщик, — ставлю стекла левой ногой!

Я стекольщик!

...Но нет стекольщика.

Это сказка или мираж...

Вот и все.

Наша сказка окончена.

Ты не видела домик наш...

Зимние деревья

Евгению Евтушенко

Ты говоришь, что думать так смешно,
и ты меня ругаешь, хлопнув дверью;
но третью ночь я думаю одно:
на что похожи зимние деревья?
И третью ночь мне не ложиться спать,
и все ругать, и ни во что не верить —
мне так необходимо отгадать,
на что похожи зимние деревья...
Мне видятся в них белые года,
старинный бал и белые деревни...
Но вдруг я позабудусь,
и тогда
мне видится, что это мой директор,
прикрывшись простыней,
пришел молчать,
чтобы решить, что гладь сугробов —
скатерть,
и тихо лечь в горячую кровать,
и возле спящей женщины заплакать...
Ты говоришь, что думать так смешно,
но на тебя мне некогда сердиться,
ведь третью ночь мне видится одно:
как нашему директору не спится;
он третью ночь на кухне у окна,
он третью ночь грызет от злости спички,
и третью ночь встает его жена
и говорит:
— Чего тебе не спится?..

Директор смотрит в белое окно —
его глаза как точки деления.

Он говорит:

— Подумай об одном:

на что похожи зимние деревья?..

Она садится рядом у окна.

Пусть пальцы у нее деревенеют,

пусть здесь она уснет,

и пусть она

увидит сон про белые деревья;

пусть утром,

обалдев от папирос,

директор ей хрипит уже за дверью:

— Я задержусь,

собрание,

вопрос:

на что похожи зимние деревья?..

Улица

Мне кажется, что век тому назад
я так же брел по этой тихой улочке;
и та же дверь скрипела в старой булочной,
и продавщица щурила глаза;
и старикашка в тереме-киоске,
с глазами, голубыми, будто лето,
у старичка брал деньги за газеты
и говорил ему:

— Послушай, Ёселе,
послушай, таер,
разве это плохо,
что мы имеем счастье говорить,
и вечером с работы приходить,
и кушать цимес, и на теплый локоть
старушек-жен
затылок положить,
и говорить им ласково о прошлом,
о ценах на продукты, на картошку,
и думать, сколько нам осталось жить,
и засыпать...

О Ёселе, послушай!..

И Ёселе кивает, и идет,
покачиваясь медленно и мерно,
и новости читает в старом сквере,
и желтой спичкой долго чистит уши...

Вот улица моя.
Уж целый век

она встречается женщину утрами.
А женщина с усталыми глазами,
а женщина — хороший человек.

И кажется,
что я ее любил
давным-давно...

Она ведь так близка мне:
мы вместе с ней топтали эти камни,
мы вместе с ней поведаем любым
смешную сказку нашей старой булочной
и песенки, что пели мостовые,
ведь только мы одни не позабыли,
что век живем на этой тихой улочке...

Вечер в провинции

Евгению Раппопорту

В провинцию входила темнота.
Она располагала к разговорам
о холодах,
которые наступят,
о валенках,
что надо покупать.

На скользких крышах
спотыкался дождь.
Он задевал ногами подоконник
и ветви
и срывался на асфальт,
разбрасывая руки...

Я сидел
на низеньком скрипучем табурете,
смотрел в окно,
и маленький еврей,
начальник похоронного оркестра,
рассказывал мне,
как на той неделе
у них из похоронного оркестра
навек ушел хороший барабанщик, —
он был влюблен в бессмертный марш Шопена
и в женщину Нехаму, что слегла,
когда ушел из жизни барабанщик,
и умерла через четыре дня...

В квартире было тихо и покойно,
и тикали часы,
и табуреты
скрипели, как осенние качели,
и булькало в надтреснутой бутылке
дешевое вино...

Я вдруг увидел,
как спать ложится старый барабанщик:
погладив барабан в прихожей темной,
он спать ложится,
чтоб уснуть навеки,
чтоб завтра увести свою Нехаму
не в парк,
не на концерт,
а в новый мир...

Я закрывал глаза и улыбался,
и слушал, как, покашливая, тихо
начальник похоронного оркестра
мне говорит:
— Вы знаете,
с тех пор
никто не умирает,
лишь Нехама
ушла от нас в тот непонятный мир,
и,
знаете,

мне кажется,
что люди
боятся умирать:
никто не хочет,

чтобы ему бессмертный марш Шопена
исполнили бы мы без барабана,
вы знаете,

никто не умирает...

Я улыбнулся этому еврею,
и я поверил всем его рассказам
и молча выпил за его здоровье...

А через час
я уезжал.
В вагоне
смеялись люди
и играли в карты.

Я им сказал:

— Товарищи!

Молчите!

Мы покидаем город,

где неделю

никто не умирает, потому что
у них ушел хороший барабанщик...

Стихи про осень и про дворника

Вот осень. Бульвары печальны, как плахи,
в глухих листопадах запуталась грусть...
Я каждую осень, когда мне плохо,
к знакомому дворнику в дверь стучусь.
А дома у дворника одни лопаты
и всей посуды — один стакан;
а дворник мой — лысый, носатый, губатый,
совсем одинокий, смешной старикан.
На длинном гвозде я пальто оставляю,
я в комнату медленно прохожу,
бутылку «Столичной» на столставляю,
к делу исподволь подхожу;
и после второй я просто и веско
все объясняю опять и опять;
и дворник мне мальчиком глупым верит,
что листья не надо в кучи сгребать;
и дворник глаза сужает по-лисьи,
гогочет,

глотаю

табачный дым;

и пьем мы за листья, за листья, за листья,
залитые сумраком голубым;
и я называю дворника умницей,
я знаю, что завтра
придут,
прилетят,
приедут
поэты на нашу улицу,
где листья нетронутыми лежат;

и тихо читаться поэмы будут
под солнцем,
под звездами,
под луной;
и будет наш дворник стоять на трибуне
и в новой фуфайке сниматься в кино.

Одесские стихи

Мне кажется —
я снова в детстве,
где так понятны сизари...
Хороший человек Одесса
мне дарит улочки свои.
Смешаю шум дождя и ветра,
полеты чаек,
улиц дрожь.
Запомню это
бабье лето:
карнизы с ангелами,
дождь:
запомню дворик,
старый-старый,
как будто песенку без слов;
как теплых женщин Ренуара,
запомню мудрых стариков,
что сядут на морском бульваре
от десяти до десяти,
как будто сам товарищ Бабель
их попросил сюда придти...
Одесса!

Я сегодня мальчик.
Кладу в карман кленовый лист,
спускаюсь в маленький подвальныйчик,
на двадцать две ступеньки вниз.
Там по стаканам бродят вина,
и пробкой выбит потолок.

Там винных запахов лавина
пол выбивает из-под ног.
Там капитаны полупьяны,
и со столов,

вниз головой,
летят горячие стаканы
в честь одесситки молодой...

А я не пью.

Я просто сяду
за крайний столик,

мне с руки
закончить глупую балладу,
начать печальные стихи.
Там ветер,

бухта,
капитаны,
огни далеких кораблей,
и пахнут рыбою каштаны,
как фартук бабушки моей.

* * *

Жизнь моя городская! —
семь квадратов жилых,
голубиная стая
на цветах городских;

Дом,
лесам незнакомый,
у тебя на стене
двадцать восемь балконов —
как сучки на сосне;

окна в пыльных гардинах —
как в перчатке рука...
Продаю холодильник,
покупаю сверчка!..

Тетрадь из Михайловского

Мне жить осталось здесь до вторника.
Но в шестьдесят восьмом году,
забыв стихи, я стану дворником
работать в пушкинском саду.
Я стану очень честным дворником,
мне будут люди доверять
с крылечка пушкинского домика
снега пушистые сметать...
Мне жить осталось здесь до вторника,
но ровно через месяц
тут,
в Михайловском,
коллеги-дворники
меня полюбят и поймут;
обзаведясь большими кружками,
когда метель коснется стен,
мы станем молча пить за Пушкина,
за старый сад, за Анну Керн;
мы будем по утрам высказывать
в тропинки сада, что пусты,
следы неясные рассматривать
и спорить, глядя на следы;
и будет снег лететь за ворота
и тихо таять на груди;
и будут соглашаться дворники,
что это Пушкин проходил...

Стихи о том, как плыли мы к морю Лаптевых

Петру Реутскому

Море серое, неласковое...
Я на пальцы подышу...
Как мы плыли к морю Лаптевых,
на бумаге опишу.
Тихо плыли:
волны плещутся,
и жарыща,
как в стогу,
и белье стирают женщины
на далеком берегу;
шкиперша
картошку жарила,
шкипер звал играть в лото —
он вино глотал,
как шарики
клоун
в цирке шапито;
шкиперша пила и плакала,
пела песню про цветы,
надевала туфли лаковые,
спотыкалась у плиты.
Пел и я,
мне было весело
за неприбранным столом,
очень нравилось,
что вместе мы
к морю Лаптевых плывем;

грустно пела наша шкиперша,
шкипер слушал и курил,
а потом ее,
охрипшую,
в дальний кубрик уводил...
Одиноко,
как в орешине,
я по палубе гулял,
если я в дела их
вмешивался,
я их этим обижал.
Надо мною звезды плавали,
а под утро
чуть бочком —
шкипер
с шкипершей
на палубу
выходили босиком.
Он ей солнце загораживал,
на лицо ее дышал,
синячки ее поглаживал,
долго-долго целовал,
говорил мне:
— Видишь, выжила, —
солнцу в ухо хохотал.
И смеялась она,
рыжая,
как копченая кета,
на груди его заласканной
обнимала якоря...
Так и плыли к морю Лаптевых
шкипер,
шкиперша
и я...

* * *

Ночами в родительском доме
с трудом засыпал иногда...
Но было ли что-нибудь,
кроме
желания славы тогда?..
Ты медлишь заметно с ответом...
Я зла на тебя не таю...
Скажи:
неужели поэты
так жизнь начинают свою?..

По Волге гулял на пароме,
умел бороться и косить...
Но было ли что-нибудь,
кроме
желанья слова находить?

Неужто не спал до рассвета,
в глаза целовал лошадей
затем,
чтобы только поэтом
прослыть среди добрых людей?..

* * *

Ни реки, ни птицы, ни волки
в лесу не шумят —

тишина!

Четыре зеленых заколки
тебе подарила сосна.

Сто дятлов —

ты только послушай! —

считают лесные часы...

Пушистые рюмки волнушек
полны розоватой росы —

давай же поднимем их разом
за то, что сегодня в груди
и реки, и горы,

и радость,

и то, что еще впереди...

* * *

Лист легко и торжественно
превращается в дым...

Верю птицам и женщинам
и поэтам своим.

Верю детскому лепету,
я над ним не смеюсь,
я когда-нибудь к этому
непрерывно вернусь.

На смешном пароходике
на осенней реке

я проснусь возле родины
с сединой на виске.

Обниму ее, тихую,
и душой и строкой
с некрасивыми птицами,
с неизвестной рекой,
с тишиной огородною
и ромашкой в пыли...

Позови меня,

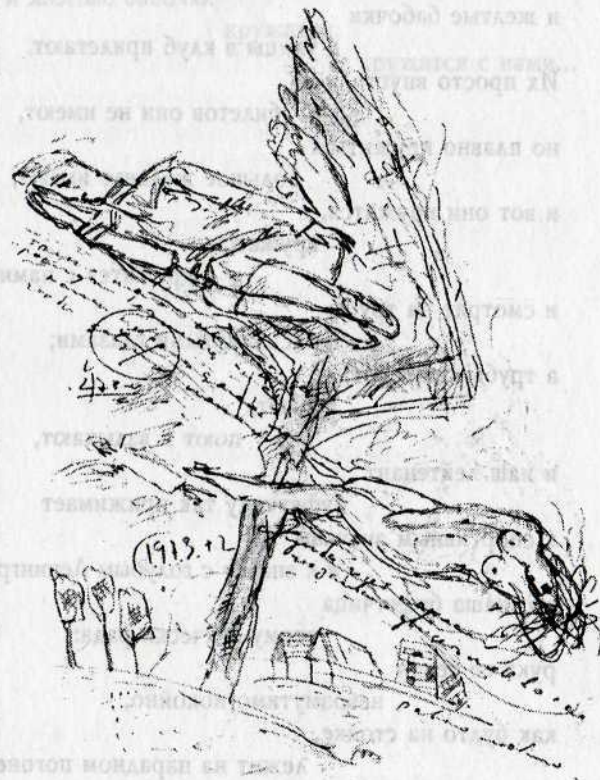
родина.

Если что —

позови...

70

ЯНУАРИЯ



Из книг

«Два года»,
«Я однажды лежал
на зеленой траве»



Первые танцы в солдатском клубе

Солдатский оркестр
старинные вальсы играет,
и желтые бабочки
с улицы в клуб прилетают.
Их просто впустили —
билетов они не имеют,
но плавно кружиться
большое желание имеют;
и вот они кружатся,
кружатся,
кружатся с нами
и смотрят на трубы
распахнутыми глазами;
а трубы сверкают,
играют,
поют и вздыхают,
и наш лейтенант
буфетчицу так прижимает
к спортивным значкам
и к значку с голубым Ленинградом,
что наша буфетчица
этому всячески рада:
рука ее белая
невозмутимо покойно,
как будто на стойке,
лежит на парадном погоне...
А мы рядовые,
погоны у нас рядовые,

и наши значки нам из дома
прислали родные,
и мы так неловко,
танцуя,
скрипим сапогами,
и желтые бабочки
кружатся,
кружатся с нами...

* * *

Только-только пилотки надели,
прослужили без месяца час —
наши письма домой полетели,
чтобы девушки помнили нас...

Бродит лето с шальными глазами,
носит первых птенцов на руках...
Прокатился слушок по казарме,
будто письма пишу я в стихах.

Рядовой Иванов из Рязани,
два сержанта, один старшина
за рифмованные посланья
обещали конфет и вина.

Вру Наташе я напропалую,
из-за Тани ночами не сплю,
Анжелику до колик ревную,
Валентину — до гроба люблю.

Чтобы точно пришло вдохновение,
чтобы письмам побольше огня,
принесли мне две банки варенья
и закрыли в каптерке меня.

А в каптерке линялые шторы
и засохший цветок на окне...
Две вороны сидят на заборе
и ничуть не сочувствуют мне.

Ем варенье, потею, рифмуя:

«кровь — любовь»,

«сон — влюблен»,

«сны — весны».

Ничего у тебя не ворую —
эти рифмы тебе не нужны,

и поэтому после отбоя

я пишу, чтоб не видел никто:

«Служба идет нормально, иногда я так устаю,
что забываю увидеть тебя во сне, но все равно
люблю...»

Осенью, когда летят журавли...

Лето кончилось,
 поздно цветам распускаться.
С тополей опускаются желтые листья,
и дежурный по роте
 дневального заставляет
замечать их подальше от зоркого взгляда начальства.
Мы лежим на траве и на листьях,
 вчера облетевших,
и молчим:
 нам известно —
 в такие минуты
надо просто молчать,
 потому что летят журавли.

Рядовой Иванов,
 прослуживший уже больше года,
за прогулы отчисленный из медицинского института,
курит «Север» и морщит широкие брови,
и полет журавлей называет легко:
 — Ностальгия...

Рядовой Кадырбаев
 травинку грызет —
 он не курит.
— Почему, —
 обращается он к Иванову, —
ты зовешь журавлей,
 улетающих вдаль,
 ностальгией?

Рядовой Иванов о камешек плющит окуроч,
обнимает колени и всем говорит:

— Ностальгия —
это грустная штука,
болезнь,
 непонятная людям.

Ностальгия —
 тоска
по земле,
 на которой родился,
по любимой...

Мы смотрим в озябшее небо:
журавли улетели,
за ними летят облака...

Рядовой Коробков
 получил от жены телеграмму.
«Ваня, дочка у нас, — сообщила жена Коробкова, —
напиши нам,
 ты рад?»
Коробков улыбается грустно,
говорит:
— Назову-ка я дочь Ностальгией.
— Молодец, —
 говорит рядовой Иванов, —
 Ностальгия!

Ностальгия Ивановна, Настя!
 Красивое имя...

Мы смеемся,
 и каждый, наверное, слышит,

как в далеком Воронеже
громко ревет Ностальгия,
и глаза у нее —
как у нашего Коробкова...

Коробков говорит:
— Пойду отобью телеграмму...
Мы идем с ним на почту,
и листья шуршат под ногами...
— Хорошо бы домой, —
говорит рядовой Коробков.

* * *

Евгению Винокурову

Я в лес хотел.
Сержант Карпеко
не отпускал меня,
и я
шел медленно в библиотеку
решать загадки бытия.

Там тускло лампочка горела,
и офицерская жена
в окошке выдачи старела
и потому была грустна.

Мы с ней сдружились постепенно
и, глядя в полутемноту,
я спрашивал:
— Читали Стерна?
— Нет, — отвечала, —
но прочту.

И спрашивала:
— Вы читали стихи Асадова в журнале?

Я рылся в книгах,
я любил
смахнуть с обложек сетку пыли,
и потому меня любили

Онегин,
Жан Кристоф
и Мцыри,
Рембо
и Кант Иммануил.
Когда б не книги,
не подшивки
газет истлевших —
может быть,
я мог бы совершить ошибку
и их хозяйку полюбить:
библиотекарши рука
была, как бабочка,
легка.

Я мог бы по уши влюбиться,
но этому
— как я открыл —
мешал сержант,
мешали птицы
и лес,
в котором я не жил.

И, книги на потом оставив,
уже совсем не по уставу,
я подоконник перелез
и вышел
самовольно
в лес.

Я вышел к медленной реке.
Уже темно.

То и дело
невидимая птаха пела
на непонятном языке,

росою пахло,
и звезда
в сырое облако стучалась,
и облако
отодвигалось
и уходило в никуда...

* * *

Та женщина,
которую люблю,
чуть свет встает и стирку затевает,
и сочиняет песенку смешную.
Та песенка о том,
как я служу.

О том,
что, к сожалению, неизвестно,
как часто я бываю в увольнение
и с кем дружу сегодня...

В этом месте
никак не получается не плакать
у женщины,
которую люблю...

Но все проходит.
Слезы высыхают,
и возникает песенка другая —
о том, как я со службы возвращаюсь,
с подарками,

в погонах голубых, —
и тут никак не может не смеяться
та женщина,

которую люблю.
Она хохочет и взбивает пену,
и шлепает пеленкой разноцветной
по солнечному зайчику,

и тут же
в кровати просыпается мой сын...

Та женщина,
которую люблю,
на улицу выходит только с сыном, —
вчера он отобрал ее перчатки
и бросил в пруд — чтоб рыбок накормить...
Уже сентябрь. И птицы улетели.
А женщина,
которую люблю я,
дыханием ладони согревает...
Как много дней я их не целовал...

Возвращение

«Мадам, уже падают листья...»
Весь вечер под этот мотив
я с милой женою кружился,
действительный срок отслужив.

А вечер был теплым и длинным,
и было открыто окно
в деревья,
где пух тополиный,
и птицы, и полутемно;

и весел я был не от водки, —
я просто от радости пел,
и сын в моей старой пилотке
на нашей кровати сидел...

Я с милой женою кружился
и плечи ее целовал,
и сын мой поэтому злился,
и я ему честь отдавал,

пока мы еще не сдружились,
пока он командовал мной...
И желтые листья кружились,
когда я вернулся домой...

* * *

Хочу, чтобы меня любила ты
или никто —

в конце концов, зачем мне
горит закат, распахнут, как учебник
на новой теме «Поздние цветы»...

Хочу, чтобы со мной любила ты
тот камушек, ту птицу, ту поляну,
которым я молиться не устану,
которые, как жизнь твоя, чисты...

Хочу, чтобы со мной смеялась ты
или трава,

или ее кузнечик, —
как дедушка выходит на крылечко,
он вышел на клубничные листья

и кашляет: он болен, он простыл,
к тебе взывая влажными устами:
— Когда умру, когда меня не станет,
хочу, чтобы его любила ты...

Игра

Играли,
играли,
играли...

В жмурки играли.

Поочередно закрывали глаза руками,
прятались кто куда...

Однажды
закрыв я глаза руками,
выкрикнул считалочку,
пошел искать
и никого не нашел —
все спрятались очень хорошо:
кто превратился в примерного семьянина,
кто ушел ловить сайру в море,
а Танька
сбежала в старые девы.

* * *

Итак, раскроем нотную тетрадь!
Проверено:

как только ей открыться,
все лучшее немедля повторится
в течение часа —
больше не набрать.

Тетрадь раскрыта — оживают в ней
любимые:

петух, собака, кошка...
И девочка,
которая немножко
косит,
но этим нравится сильней...

Здесь слезы прошибут...
Не хватит сил
их удержать,

и заново — сквозь брызги —
велосипед,
который в этой жизни
никто, никто, никто
не подарил...

* * *

До чего же я жил бестолково!
Захотелось мне жить помудрей:
вот и еду в музей Кобенкова,
в самый тихий на свете музей.
Открывайте мне дверь побыстрее!
И, тихонько ключами звеня,
открывает мне сторож музея,
постаревшая мама моя...

Вечер из детства

Бабушка очки искала тихо,
но очки лежали тихо-тихо,
тише, чем их бабушка искала,
тише, чем наш дедушка болел;

я сидел на лавочке и слушал
(тихо-тихо),

как на свете тихо...

Думал я, что, если будет тихо,
дедушка не сможет умереть...

Я еще не знал, что в этом мире
есть такое правило для жизни:
смерть, любовь,

и вера, и надежда

к нам приходят в полной тишине.

*Письмо, которое
не будет отправлено*

Хохотали, недоумевали,
книжечку мою перелистав:
— Никогда вы не переживали,
ваша жизнь от горестей чиста,
не спешите, Толя, поживите,
пусть вас жизнь немножечко побьет,
а потом садитесь и пишите...

Вот я и пишу вам через год:

«Я на вас ничуть не рассердился,
молча свои беды перебрал:
друг ушел, и я с ним не простился,
маленького сына потерял,

и любил я вовсе не счастливо,
и такое вытворял с собой,
что писать об этом некрасиво —
знаете, какая это боль,

знаете, как холодно порою,
так что жить не хочется совсем...
Я-то знаю, что это такое.
Не пойму, другим оно зачем?..»

Как это ни печально,
но писать
меня учили вовсе не поэты,
а скромные читатели газеты,
тираж которой стыдно называть.

Соседка говорила:
— Напиши,
как дворник Бондарь прошлым воскресеньем
мел полквартала в тяжком опьяненье,
но так пиши,
чтоб было от души.

И я писал о Бондаре с душой —
как этого соседка захотела,
я возмущался:

«Не закончив дела,
он в магазин за водкою пошел».

Соседка говорила:
— Молодец! —
и выдавала прошлогодний пряник.
А дядя Ваня требовал:
— О бане!

Пиши о бане —
банщик там подлец.

...Я каждому готов был угодить:
проводникам, носильщикам вокзала...
Мое перо старушке помогало
без очереди булочку купить!

В своей

петитом набранной строке
я слышал треск и грома тарахтенье;
я в марте напугал учреждение,
единственное в нашем городке.

А март был пьян.

Наглядно таял снег,
и никому в скворечнях не сиделось,
и почему-то очень захотелось
писать стихи —

о лужах и весне.

И там,

в стихах,

все было хорошо:
пел огород, и трезвый, как огурчик,
товарищ Бондарь подметал окурки
и в магазин за лимонадом шел,

пенсионер сосульку клал в карман —
ему с избытком пенсии хватало,
а бабушка от счастья хохотала
и распевала арию Кармен...

Стихи не напечатали,

но я

всем объявил, что ухожу в поэты...
И лучшие читатели газеты
с печалью посмотрели на меня...

* * *

А почему бы не о быте!

Пацан на цинковом корыте
ладошки пухлые стесал,
доказывая, как прекрасны
ночной горшок, обмылок красный
и дождь, который душем стал.

А почему вы не хотите,
чтоб я поговорил о быте?

О вечере на теплой кухне,
где пироги от масла пухнут,
где все, что бегало и пело,
росло, шумело, шелестело, —
в кастрюльках весело кипит
и пред хозяйками дрожит!..

А почему бы не послушать
пыхтенье розовых галушек,
скрип сковород, прибой ухи
и газа зимнее — «апчихи»!..

А почему бы не о том, как
красив закат на тюле тонком,
но в сотни раз прекрасней он,
когда выходишь на балкон...

А почему бы не о быте,
когда в него по шляпку вбиты?

* * *

Разбужен псом, который мной любим,
как существо нежнейшее из смертных,
я начинаю жизнь:

целую морду,
пушистую и теплую, как сено,
и подставляю бороду и веки
наждачке языка,

и вспоминаю,
что я проснулся, чтоб любить опять...

А за порогом — дождик и сентябрь.
Мы первые, кто в этот час решился
делить печаль сентябрьского рассвета
со слякотью,

травы половичками
и за ночь облетевшею листвой...

Нам в этом мире многое знакомо.
Но этот лист нам встретился впервые.
И голубь тот нам встретился впервые,
и этот день впервые к нам пришел.

Я думаю, что пес мой мог бы стать
поэтом, —

если б я поэтом не был.
Он травку ест, он камешек целует,
он лапку поднимает,

как поэты

свои ладони к небу поднимают,
когда читают новые стихи...

Он знает:

если он пойдет в поэты,
мы станем с ним чужими —

так бывало...

И от его нежнейших экскрементов
парок нежнейший медленно идет —
земле тепло, теплее будет небу,
благодаря нежнейшему из смертных.
Благодаря нежнейшему из смертных,
совсем не страшно думать о любви.

Но в этот миг я вспомнил о других,
верней, не я, а пес:

он вдруг заплакал —
сидит и плачет,

глядя, как по жизни
опять пошли несчастные из смертных...
Сидит и смотрит,

как они проходят
с портфелями
и без таких, как он...

Начало осени

Вдова

...И если погасить свечу,
как напрочь стертая пластинка,
из глубины ночного снимка
комар воскликнет:

— Я лечу!

И, пальчиков не уколов
о фитилек,

остыл который,
сто миллионов комаров
начнут ночные разговоры
о близкой осени...

Деревья
начнут раскачивать деревню;
на дальней заводи весло
падение всплеском обозначит,
и хриплый хор простывших псов
его судьбу во сне оплачет...

Откинув тяжесть покрывал
и комаров смахнув, как крошки,
сорокалетняя вдова
проснется и пойдет к окошку —
ей у окошка горевать
и жизнь ночную наблюдать.

О жизнь ночная!

Плеск листвы,
роса и яблоки —

за ворот
полуистлевшего забора,
и — темень.

С ног до головы!

Вдова во тьме не различит,
как яблоко,

подавшись ветру,
закружится,

сорвется с ветки
и на синицу налетит —
синица вскрикнет от испуга
и позовет на помощь друга...

Пунцовотела и бледна,
вдова отпрянет от окна

и упадет на половики,
воскликнув:

— Господи, мужик!

Деревня

И утро весело пойдет,
в пастушью дудочку играя,
с колючих лопухов срывая
росы серебряный налет.

И радостно вздохнут коровы,
к обычной трапезе готовы.

Проснется люд.

И с топора
мужик росу ночную вытрет.
Его петух под небо выйдет,
как клоун под прожектора,
и полетит на облака
им гребешком чесать бока.

Проснется небо,

и трава
букашек выгонит на крышу,
и все кузнечиков услышат:
коровы,

дети

и вдова...

И все увидят желтый лист,
прилипший к вдовьему окошку,
вздохнут и помолчат немножко,
и тихо скажут:
— Дождались...

Художник-примитивист

Я говорил знакомым:

— Вот

и осени начало:

нам желтый лист преподает
разлуки и печали...

И все смотрели:

желтый лист
снижался постепенно,
и на лице его сплелись
шуршанье,

свет

и тени...

И, дверь с размаху отворив,
в берете ярко-красном,
его движенья повторил
сопливый первоклассник.

И долго,

вплоть до января,
до лыжных воскресений,
хотелось людям повторять
того листа паденье:

однажды в скверике пустом,
на каблучках усталых,
старушка в драповом пальто,
как девочка, бежала,

она упрямым кулачком
по воздуху стучала,
как будто ей хотелось в дом,
а ключик —

потеряла,

она споткнулась о цветок
и, враз теряя силы,
разжав упрямый кулачок,
копейку уронила...

Был вечер тих
и воздух чист —
он пах дождем и глиной,
когда один эквилибрист
трапецию покинул...

Как знать —
чего он захотел,
пробив лопаткой купол,
он тихо по небу летел,
печальный почему-то...

Прощай, лихой эквилибрист!
Погибло представление...

Я понял:
это желтый лист
вершит свое паденье.
Я понял:

надо рисовать!
И вот тогда впервые
купил я белую тетрадь
и кисточки тугие.

Я двадцать пять ночей не спал,
я сочинял картину,
я закрывал глаза,
мычал

и бегал по квартире,

я изорвал блокнот...

И вот
печально и уныло

листа замедленный полет
снежинка повторила...

Но я не думал унывать,
пенять на невезенье:
мне захотелось срисовать
снежинкино паденье.

Я из газет слепил блокнот,
купил пятнадцать трубок,
я рисовал ее полет
безумно, зло и трудно...

Когда я выглянул в окно,
сады и парки пели
и пили белое вино
из яблоневых перьев.

И я заплакал. Что я мог!
Мне было очень больно...
Я вынес шкаф,
разбил трюмо,
я оборвал обои.

И стены, ставшие кругом,
сказали мне устало:
— Все, что ты видел за окном,
ты можешь нам оставить.

И я нарисовал овал,
и в самой серединке
я желтый лист нарисовал,
а рядом с ним —
снежинку,

и молча шли старушки к ним,
эквилибристы плыли,
и, взявшись за руки, они
падение вершили,
и, вся из слез,
но в полный рост,
с клюкою Архимеда,
моя судьба, мой верный пес,
за ними шла по следу,
и желтый лист за ней летел
в берете ярко-красном,
хотя прекрасно понимал,
что догонять —
напрасно...

Ночь листопада

Бьет двенадцатый час,
будто падает гроздь винограда,
словно мышь голубая,
в траве прошуршала
звезда.

И попробуй уснуть,
если рядом —
шаги листопада
и с опавшей листвою
переключку ведут
поезда.

В нашем доме темно
и зашторены окна,
но знаю:

все соседи не спят.
В эту ночь никому не уснуть!
Выходи на балкон,
золотая буфетчица Рая, —
ветер с желтой листвою
полетит

на твою неприкрытую грудь.

Открывает балкон
исполняющий должность завхоза
фронтвик Иванов.
И идет на него листопад.

Иванов — шахматист.

Мы сыграем сегодня с ним
в звезды.

Я Венерой поставлю

ему

замечательный мат.

Открывает балкон

Ковалева Мария Петровна,

совесть нашего дома,

бессменный его управдом.

— На балконы! —

командует Марья Петровна, —

Жильцы!

На балконы...

Все бросаются к тапкам.

Один листопад —

босиком...

Стихи об очень грустном человеке

В этой жизни не бывает,
чтобы песенка не пелась,
чтобы кто-то не проснулся:
ветер, дождик или снег...
В этой жизни все бывает,
и поэтому бывает,
что при этом проживает
очень грустный человек.

У него часы в кармане
время грустное считают,
у него очки — большие,
как спортивные часы...
Вот идет он на работу,
вот лежит он на диване,
а ему часы считают
очень грустные часы...

И такое впечатление,
будто он идет по кругу,
как по замкнутому кругу
сутки долгие идут,
будто он на карусели
едет, едет, едет к другу
и билет ему на поезд
никогда не продадут.

Я спросил его:
— Зачем вам

знать, который час на свете,
все равно вам будет грустно
через час и два часа?

Ничего он не ответил,
только я успел заметить,
как он стрелочки поправил
на прокуренных усах...

Стихи о покойной Анне Ивановне Голубцовой

Друга жена,
Голубцова Анна Иванна,
в кухне,
на старом диване и в ванной
молча сходила с ума,
а друг мой работал ночами —
новые главы романа
машинка стучала.

Анна Иванна
мужа напротив сидела,
катастрофически
Анна Иванна сидела,
катастрофически мужа не понимала:
грустно смотрела,
руки ему целовала,
плакала горько
и без конца говорила:

— Этот роман
нас доведет до могилы...

Время пришло
ставить точку:
прощаться с романом,

и на диване
прочла его Анна Иванна,
и обнаружила Анна Иванна такое,
что разлучило

Анну Иванну с покоем:

были в романе праздники, ночи и зори,
реки печали,
 моря человеческой крови,
тиф, лазареты, казармы
 и прочие вещи...
Были мужчины, лошади —
 не было женщин.
Как она плакала,
 бедная Анна Иванна!
В кухне,
 на старом диване
 и в ванной
Анна Иванна
 трижды роман прочитала,
больше не стала —
 Анны Ивановны не стало...
Друг мой женился,
 с Анной Ивановной простился —
осень ей носит
 самые желтые листья,
лето ей дарит
 песенки старых кукушек —
Анне Иванне
 грустно, наверно, их слушать...
Старую книгу милого друга достану,
и зашуршит она платьицем Анны Ивановны,
и захлебнется солдатскими голосами...
Лошади стонут,
 плачет гармошка в казарме,
и сострадает им
 героиня романа —
Анна Иванна,
 добрая Анна Иванна...

*Стихи о зябликах,
композиторе Бахе,
Муслиме Магомаеве,
враче И. Л. Малышевой и др.*

Себе я купил книжку,
 сыну купил шарик.
Книжку я прочитаю,
 а шарик вылетит к ней —
к врачу Инне Львовне Малышевой,
 замученной алкашами,
сумевшей поспорить с Бахусом
 четырнадцать алкашей.
Как она это делает,
 я досконально знаю:
к ней огромная очередь
 (так же, как в Рай и Ад),
сначала ее послушают,
 потом подумают «злая»,
потом ничего не думают,
 а засыпают и спят.
Тихо у Инны Львовны
 в белом ее кабинете,
в белом ее кабинете
 хочется жить да жить...
Спят алкаши и видят:
 нету на белом свете
ни одного человека,
 который хотел бы пить.

Там, где пивные кружки
у них на глазах сидели,
скверики зашелестели,
бабочки расцвели,
дождики прошумели,
зяблики прилетели —
завтракают червячками,
вышедшими из земли...
Инна Львовна старается —
там, где зяблики кушали,
травка играет с мячиком,
мячик бежит в кусты,
а на кустах причесанных
красные ягоды сушатся —
алые капли шлепаются —
вспыхивают листья.
Инна Львовна старается —
Бах на нее работает,
Маслим Магомаев трудится —
тужится магнитофон.
Лежат алкаши на кушетках,
причмокивают, вздыхают —
никто из них не догадывается,
что это не жизнь,
а сон.
Одни три дня не догадываются,
другие четыре месяца,
третьи всю жизнь не догадываются —
зяблики им поют,
бабочки расцветают,
прыгают мячики весело,
ягоды высыхают —
пьянствовать не дают...

Многих из них я знаю —
они уже шляпы надели,
галстуки повязали,
портфелями обзавелись.
Спрашиваю:
— Как зяблики,
неужто не улети?
— Нет, — говорят они, —
зяблики
у нас хорошо прижились...

И коль это так,
то, значит,
не зря в восемнадцатом веке
мучился композитор
Бах Себастьян,
а с ним,
искренне солидарны,
трудятся два человека —
врач Инна Львовна Малышева
и Магомаев Муслим...

Лирический монолог

Своим друзьям с иронией печальной,
за ужином,

я описал, как мог,
быт городка,

весьма провинциальный,
с его тоской, распутицей дорог,
с растрепанными соснами и снегом,
и нецензурным словом на скамье
в полуостывшем скверике,

а следом
я рассказал с улыбкой о семье,
где угощают весело и жарко,
где мало пить и мало есть нельзя,
где грустного писателя Ремарка
считают дамой...

Добрые друзья
оплакали меня

и очень быстро
— не выпал снег, не умерла трава —
вручили мне столичную прописку,
и я сказал:
— Подружился, Москва!..

Былым воспоминанием согреюсь,
свои обиды на год отложив...
Любимый мною Александр Сергееч
в столицах не советовал мне жить.
И ты, Москва, лови меня на слове —
все, что любил, и все, чем дорожил,

не ты, Москва,
а городок сосновый
со мною бескорыстно разделил:
здесь все мое:

листок, прилипший к ставне,
ночного крана тонкая стрела...

Мне полюбился быт провинциальный
с оглядкой на столичные дела.
Люблю провинциальное семейство,
где гам, и смех,

и слезы, и грызня,
где хочешь — плачь,

а если хочешь — смейся,
где мало есть и мало пить —

нельзя,
где говорят о варках и припарках
и отпуска

— в Москву —

как манны ждут...
Где грустного писателя Ремарка
в одной семье

Марию зовут...

Валентину Берест

Мне нравится, что в городе моем,
на площади центральной,
в воскресенье
по направленно ленинской ладони
светло и прямо
елка поднялась.

Я взрослый человек,
я понимаю,
что это дело рук не Дед-Мороза,
что этому предшествовали споры,
и заседания,
и голосованья:

— Нужна нам елка или не нужна?

Я много раз бывал на заседаниях и знаю, что и здесь был кто-то против, и даже воздержавшиеся были, но большинство голосовало «за».

И тотчас был ответственный назначен, он назван был «ответственный за елку», и, гордый новой должностью, сейчас же без промедленья к делу приступил.

Я взрослый человек,
я понимаю,
что Дед-Мороза выдумали люди.
Я никогда не стану Дед-Морозом,
но я еще надеюсь,
что однажды
я назовусь ответственным за елку,
ответственным за радость ребятишек,
и если мне положен заместитель,
то Дед-Мороз,
придуманный людьми...

* * *

Когда б я жил столетие назад,
бродил бы я с шарманкою веселой,
меня б дарили теплым хлебом в селах,
а в городах давали шоколад,
и я бы пел,

верней, моя рука
мелодию из круга выводила,
и музыка б по улицам бродила,
и плакала на черных чердаках —
ее бы обнимали мужики,
слегка царапал мишка косолапый,
и музыка б с меня снимала шляпу,
и падали бы в шляпу медяки...
И я всю жизнь любил бы жизнь свою.
А по ночам,

как добрая крестьянка,
смотрела бы веселая шарманка,
как я устал,
как хлебушек жую...

* * *

Когда последнее окно,
как бабочка, погаснет,
и все, кто есть,

оставив явь,
в цветные сны уйдут,
я трубку сладкую курю,
я сочиняю сказки
для тех мальчишек, что тебя
старушкой назовут.

Там песен больше, чем у нас,
там птицы веселее,
ослы — умнее,

а слоны,
как школьницы, чисты,
и каждый тысячный верблюд
плевать не умеет,
и даже женщина одна
красивее, чем ты.

Ей все равно, как я живу,
как плачу,

и, пожалуй,
она в другого влюблена
и смотрит на других,
и я за это на нее
немного обижаюсь,
как обижается король
на подданных своих...

Я ей признался, что любил
тебя четыре года,
я фотографию твою
ей молча показал,
я ей сказал, что все прошло,
как хмурая погода,
и очень вежливо,
во тьме,
ее поцеловал.

Я убедил ее, что я -
поэму напечатал,
что я во вторник за нее
три царства получу,
но вышел маленький король
и уронил перчатку,
и дважды выкрикнул:
— Дуэль!
А трижды:
— Проучу!

И вышли мы на белый снег,
и я был без перчаток,
и все вороны на меня
смотрели без очков.
— Готовы ль вы? —
спросил король
надменно и печально,
и я сказал ему, что я
давным-давно готов.

Я руку вытянул вперед.
Я знал, что пуля злая

сразит меня,
и я запел,
все в мире возлюбя...
И вот уже четвертый день
ты ничего не знаешь...
А я ведь умер. На снегу.
И все из-за тебя...

* * *

Тогда весна в то утро началась.

А именно — в тот миг,

как ты проснулась.

Я помню:

только ты глаза открыла,
зеленый луч ударил по стеклу,
и хлынул свет,

и воробьи запели;
трамвай сказал: «Поехали», — и свистнул,
и дворники на улицы явились,
и метлы их отсчитывали время,
и солнышко, как гирька часовая,
тянулось вверх,

и зубы чистил день;
и я сказал: «Люблю», а ты сказала:
«И я люблю».

И город стал кружиться:
кружились скверы,

мимо пролетая,
один из них нам форточку расквасил,
садовая скамейка, не стесняясь,
с нас сорвала цветное одеяло,
которое потом нам из Китая
прислало очень грустное письмо;
мое пальто немедленно улетело —
я отыскал его у букинистов
спустя полгода;

я придумал строчку,

которая нам ручкой помахала,
и, как мне ни печально, некий бездарь
не отдает ее мне до сих пор...
В то утро мы с тобой простились где-то
между верхушкой тополя сырого
и стайей галок...

Как я ни старался,
я не сумел то место отыскать...
Была весна.

* * *

С песнями не стоит торопиться
в трудный век звонков и телеграмм...
Как это ни грустно,

мы не птицы,
соловьи не родственники нам...

Хорошо ли, весело на свете —
все-таки припомнится подчас:
как это ни грустно,

мы не дети —
женщины иначе любят нас...

Но зато все то, что накопилось,
все,

что между пальцев протекло,
как рубец

и как необходимость,
не спросившись,
на сердце легло...

* * *

И ветра перетоп, и капля дождевая,
бессонницы моей кибитка кочевая...
Благодарю судьбу

за то, что не один
и знаю до конца, что будет впереди...

Кибитка, торопись!

В лицо летит песок,
мгновенье рвет брезент годам на перевязку,
и мчится вспять сюжет от станции развязка,
и месяца над ним трепещет завиток...

Луч, туча, фонари, садовые ограды...
И мы спешим туда,

куда спешить не надо...

И все же поспешим!

Я знаю: там не спят,
еще полночный час не выкрикнул «по коням!»,
чем раньше мы домчим,

тем раньше нас прогонят,
тем раньше не простят,

и годы полетят,

и — ветра перетоп, и капля дождевая,
и я тебе никто, и я об этом знаю...

И все же поспешим!..

* * *

Я уверен: колени обняв,
в эту ночь в неуютном вагонном
эта женщина вспомнит меня
молодым, некрасивым, влюбленным.

Полустанок, дорога, звезда,
горький запах гостиничных комнат
ей, далекой, уже никогда
не позволят иным меня помнить.

Я люблю ее горько и зло,
как шальная судьба повелела,
в старом доме,
в котором светло
от ее сумасшедшего тела...

Я к ней еду на товарняке,
торопя города и колеса,
у меня папироса в руке,
у меня в пиджаке — папиросы,

у меня за душой ни гроша,
и, пока она не околела,
я даю ей возможность дышать —
независимо,
как королеве,

и сладка дождевая вода,
и светло на случайных вокзалах...

Эта женщина помнит, когда
королева моя не хворала

и когда в королевстве своем
по законам движенья и Бога —
без короны, в рванье, босиком —
мне за службу платила дорогой...

* * *

Виктору Соломатову

Десятый час.

На улице темно.

Седа́я печь изобрета́ет пламя...

Мой милый друг,

ты вспомнил про вино,

а я читаю Пушкина на память...

Благодарю

молчание твое,

дыхание зимы, горластый ветер

и наше холостяцкое житье,

и теплый хлеб на ветхом табурете...

За белый свет —

спасибо январю,

а прашуру —

за старенькое пламя...

В который раз

я жизнь благодарю

за то, что помню

Пушкина на память,

за то, что светел день,

а ночь — темна,

и дни летят,

и годы наши мчатся,

и я еще умею без вина

в своей любви

прохожему признаться...

Яблоня

Я с яблоней местами поменялся —

цвели мои ладони,

я смеялся.

А яблоня ключи мои взяла,

сварила кофе, завалилась в кресло,

книжонки полистала

и нашла,

что сочинять их очень интересно,

нашла мою истлевшую тетрадь

и выяснила,

как ей рифмовать;

потом она по комнате прошла,

подумала о чем-то, помычала,

на пишущей машинке постучала

и через день издателей нашла,

откланялась бухгалтерской графе

и через час уже была в кафе.

Там, между прочим, душно, как на пляже,

с той разницей, что рядом нет реки.

Там много курят,

накутившись, пляшут,

а отдышавшись,

слушают стихи.

И, опершись на краешек стола,

им яблоня три опуса прочла.

Два критика с ней лихо станцевали,
пришли в восторг,

но следует сказать,
как это ни печально,

но едва ли
они смогли в ней яблоню признать,
тем более что через час она
была пьяна

и даже влюблена...

А я —

с тех пор, как яблоней я был,
так много знаю, что еще не знаю,
как расскажу об этом...

* * *

А ночью разбудила мысль о том,
что так и не написана страница,
ради которой стоило родиться,
купаться в реках, бегать под дождем,
любить, смеяться, женщин целовать
и на руки поднять тебя однажды...

Я разозлился и ударил дважды
судьбу в лицо.

И разорвал тетрадь.

А утром ты пришла.

И все прошло,
и понял я, что я затем на свете,
чтобы любить, смеяться,

трогать ветер
и рвать цветы —

как это хорошо!

А разве плохо —

бегать под дождем,
купаться в реках,

кувыркаться в травах,
быть добрым,

быть и правым, и неправым,
днем — мальчиком,

а ночью — стариком!..

Я жизнь люблю и вряд ли я отдам
все, что люблю:

от самой малой птицы
до облачка, до чистой той страницы,
с которой мне так трудно по ночам...

* * *

В детстве
я книжку украл
из школьной библиотеки.
Книжка — о звездах,
о том, что далеко, но болит.
Книжка полезна весьма,
жаль, что написана скучно —
больше пятнадцати лет
я ее трудно читал.
Многие звезды —
из тех,
что удостоились чести
в книжке описаны быть,
нынче уже не горят;
библиотекарша та,
что не заметила кражу,
не наказала меня,
тоже уже далеко...

* * *

Я однажды лежал на зеленой траве,
на зеленой-зеленой,
настолько зеленой,
что земля мне казалась зеленой и небо,
и минувшие годы зелеными были;
и в подъездах, заполненных тьмою зеленой,
поцелуй был зеленым на вкус и на запах,
и тропинка зеленой была,
и дорога,
и стихи,
и зелеными — кляксы на них...
Вот как все это было,
а вы говорите,
что бывает на свете печаль или радость...
Я уверен —
достаточно, чтобы на свете
было что-то зеленым,
зеленым, и только!..

* * *

В зеленом доме женщина жила.
Пока она в том доме проживала,
мне радости с присыпочкой хватало:
был сладок ветер,

улица светла;
и каждый день над городской травой
полуживой кузнечик

левой пяткой
на скрипочке играл,

и так понятно
вещали тополя над головой,
и в целом мире не было беды
(в тот давний год такого не водилось),
и голова бессовестно кружилась
не от вина,

а просто от воды,
и голубь шел по краешку стола,
и я делил с ним корочку по-братски
лишь потому,

что в некотором царстве,
в зеленом доме женщина жила...

* * *

Снег уже почернел.
Я люблю это горькое время,
эти ночи без сна,
эти долгие дни
как во сне...
Я хожу по земле,
потому что сегодня
я с теми,
кто когда-то летал,
кто уже просто так
при весне.

Мама, снег почернел!
А моя голова побелела...
Ах, как трубки мои
в это горькое время горьки...
Я хожу по земле,
помню:

юность моя улетела,
а в газетах об этом
до сих пор
ни единой строки...

Снег уже почернел —
на земле, на дорогах, на крышах.
В эти ночи и дни
по-ударному трудится связь,

и поэтому мама
меня

замечательно слышит:

— Снег уже почернел.

— Снег уже почернел

и у нас...

Мама плачет,

а я почему-то не плачу —

не хочу, не могу

и не верю, что прежде умел...

Март.

Весна.

Одиночество.

Мама.

Смешная удача —

снег уже почернел.

Снег уже навсегда почернел.

* * *

Когда инопланетный звездочет
одной звезды однажды не дочтется,
он снимет нарукавники, вздохнет,
зайдет в кафе

и выпьет с кем придется,
ослабит галстук

и увидит снег,
на теплый свет летящий из потемок...

Он будет старым,

этот человек,
но он заплачет —

горько, как ребенок...

И верю я:

поймет его жена,
в который раз разогревая ужин,
что много лет была ему нужна
моя земля

и я на ней был нужен,
что он любил бранить мои стихи,
что звезд ему осталось очень мало...

И может быть,

простит ему грехи,
которые ни разу не простила...

Послание грузьям

Летят года, торопятся...
увы,
растут долги — попробуй рассчитаться...
Друзья мои,
мне помнится, что вы
умели жить, и плакать, и смеяться...

В который раз нам желтый лист кружит,
в который — соловьи отголосили?
Так юность далека,

что кутежи
нам даже жены верные простили —
куда она, с кем песенки поет,
в каких краях печали рифмой лечит?
Уже мой семилетний обормот
не верит в то, что были вы беспечны...

Я помню, как ходили вы вразнос,
бледны от голода и общежитских шумов,
как вы любили,

думая всерьез
о том,
о чем забыли нынче думать...

Друзья мои, как труден наш союз
в середине дня на первом перевале!
Молюсь земле,

кузнечикам молюсь,
чтобы они о вас не забывали,

стучусь в деревья,
кланяюсь ручью,
далеким звездам и дорожной пыли...
Ни долгих дней,
ни славы не хочу —
хочу, чтобы о вас не позабыли...

В полночный час сойдемся за столом,
махнем на годы и вина пригубим...
Давайте будем счастливы потом,
когда несчастных рядышком не будет,

давайте будем молоды сейчас,
сейчас — бездомны
и сейчас — пристрастны,
хотя бы потому,

что после нас
земле и людям стоит быть прекрасней,

хотя бы потому,
что наш успех
придет не так,

как мы того желали
в начале дня,

чтоб досчитаться всех
в середине дня на первом перевале...

Инне Фруг

Переулков и дворов
пепельницы —
все чужое
и мое...

Тома домов,
не прочитанные мною;
голоса ночных зверей —
эха, дали,

тьмы и ветра;
облетевших фонарей
одуванчики;

газеты
снов,

куда мне вход закрыт...
Грустно...

Кто там за спиною?
Оглянулся —
лист летит.

Подлетел.

— Пойдем со мною!

Соглашается —

идет,
топает, сопит, хромает...

Надо же,

чужой,
а вот
понимает...

Понимает.

Спрашивает:

— На душе
больно?

Как ему ответить,
если мне
сейчас
уже
хорошо на этом свете...

* * *

При всем при том

в том городе зимою
уже всю фиалки продавали,
и, как я ни был глуп,

я догадался
у всех, кто предлагал их, покупать.
В том городе мне бешено везло.
Сейчас мне это трудно доказать вам,
но верьте мне:

все тамошние дамы
мне улыбались...

Лишь одна из них
не улынулась.

Этим огорченный,
я откровенно обратился к ней:
— Вы знаете, —

сказал я ей, —
сегодня
нельзя не улыбаться.

И услышал,
как мне сказала женщина:
— Простите.

И улынулась.

Я тогда не знал,
что люди так умеют улыбаться.
Я ей сказал:

— Тогда пойдемте вместе.
И мы пошли с ней рядом.

Я не знал,
что так вот, рядом, можно долго-долго

идти куда-то, западая в песни,
и пить вино неведомо какое,
и что-то говорить.

Да, я не знал,
что можно не любить и быть счастливым.
Я попросил:

— Пожалуйста, останьтесь
со мною навсегда.

Она сказала:
— Да, навсегда.

И мы не расставались
сто тысяч лет и три десятилетия,
почти полдня и целый-целый вечер...
Я говорил:

— Вы помните?
— Да, помню, —
она мне отвечала.

Я не знал,
что можно верить женщине,
с которой
сто тысяч лет и три десятилетия
ты рядом был...

Я имя позабыл,
я город позабыл,
его название,
забыл, как добираться в этот город,
но помню,

что я жил в нем долго-долго,
так долго, что и в детстве мне не снилось...
И потому с тех пор, как мы расстались,
я думаю:

«Как мало жизни мне!..»

* * *

Сначала — одуванчики,
потом —
пух тополя,
потом, однажды утром,
крик журавля,
который много выше —
чем тополь, одуванчик,
а потом
из высоты вершат свой путь снежинки —
дорогой журавля,
минуя тополь,
они туда,
где раньше одуванчик
жил-поживал...
Как быстро год прошел...

* * *

Тонко-тонко пахнет подорожник, —
ночью дождик раны врачевал,
подходил к палатке осторожно,
ни одной ромашки не примял;

ночью птицы нехотя молчали,
комары просились на постой...
Жизнь моя с любимыми мелочами
показалась доброй и простой...

Что бы мне друзья ни говорили,
Чем бы свое сердце ни обжег, —
я подумал:

зря мне подарили
острый нож
и меткое ружье.

Кто обидит:

островок в тумане,
камень, покотившийся в Байкал?
Или ты, кузнечик,

что в кармане
у меня всю ночь ночевал?

* * *

Зимой, весною, осенью и летом
я вас любил.

Вы помните об этом?

Я приносил вам самый первый снег,
который таял на ресницах ваших,
а если вам ночами было страшно,
я вместе с ним являлся вам во сне.

Зимой, весною, осенью и летом
я к вам спешил.

Вы помните об этом?

Я приносил багул вам по весне,
и ваши стены розовыми были,
а если вы кого-нибудь любили,
я вместе с ним являлся вам во сне —

зимой, весною, осенью и летом
я вас любил.

Вы помните об этом?

Я стал цветком, засохшим на окне,
листом, истлевшим в книжке позабытой,
и, может быть, поэтому сердитым
я всякий раз являюсь вам во сне

зимой, весною, осенью и летом...
Я не устал.

Не думайте об этом.

* * *

И снег идет,
и вишня расцвела,

зимою пахнет,
и весною пахнет,

и кто сейчас проснется, тотчас ахнет:

— И снег идет,
и вишня расцвела!

И снег идет,
и вишня расцвела...

Уйду из дома и приду к сирени —
перед сиренью встану на колени:

— И снег идет,
и вишня расцвела!

Кто спрашивает, как мои дела?

Они прекрасны —

по моей подсказке
цветет сирень на улицах Ангарска,
и снег идет,

и вишня расцвела!

Сирень, и снег, и вишня —

даль светла

и в лес зовет...

Не пожалею слезы,
но выпрошу сережку у березы:

— И снег идет,
и вишня расцвела!

И ты смахнешь бумаги со стола —
цветет сирень, совсем не понарошку,
тебе береза выслала сережку,
и снег идет,

и вишня расцвела...

И здесь мои закончены дела!

Записки натуралиста

Предисловие

Насколько могут свидетельствовать эти странные записки, Константин Иванович Земнухов причислял себя к энтомологам, но, насколько я помню, собственно наукой Константин Иванович никогда не занимался, о чем свидетельствует не только старейшая жительница нашего дома управдом Мария Петровна Ковалева, но и те неточности в описании некоторых насекомых, которые я, человек очень далекий от науки, сумел обнаружить: так, Константин Иванович почему-то сумел рассмотреть у стрекозы только два крылышка, хотя на самом деле их целых шесть.

При всем при том я, вопреки желанию Константина Ивановича, ничего не правлю в его записках, поскольку усматриваю в них интерес не научный, а чисто человеческий: почему, думаю я, бухгалтер Земнухов, выйдя на пенсию, заговорил о насекомых стихами, почему в его записках есть строки о любви (посвященные неведомой Маргарите)? Почему эти записки он завещал именно мне, которого никогда не считал поэтом?

Сейчас на эти вопросы ответить невозможно: Константина Ивановича уже давно нет, но, верный человеческому долгу, я публикую его несовершенные записки рядом со своими совершенными стихами — мы были соседями по дому, по балконам, теперь — по стихам.

Жук

Жук не жужжал. Он пел, а не жужжал!
Подумайте,

зачем ему жужжанье
в тот час,
когда спешит он на свиданье
с желанною!

Но — воздух возражал:
брюзжал, —
тебе слышалось: жужжал...

И жук летел, и песнь его летела
с ним рядышком,

дрожа, держась за тело
легчайшее,

и, если б кто разжал
плотнейший воздух,

ты бы понял — дело
лишь в том,
что воздух песне возражал...

Репейница

Репейница! Не моему перу
касаться ваших крылышек воздушных,
напудренных, беспечных, непослушных
ветрам и расстояниям, и перу.
Как вам, должно быть, трудно иногда
и как по-человечьи одиноко,
когда, простившись с Африкой далекой,
торопитесь вы в наши города!

Спасибо вам за то, что вы опять
нас посетили, дом наш осветили
и тысячи вещей наговорили —
не хватит жизни, чтобы их понять!
Репейница! Присядьте на перо —
ему давно пора остановиться,
давно пора на буквы рассердиться,
чтобы не помнить, что оно — перо,
и, если у него мечты чисты,
оно должно с закрытыми глазами,
как верный спутник, шествовать за вами —
до вечера, до гробовой доски...

Стрекоза

Сейчас мне любопытна стрекоза.
Вы можете сказать: она горбата.
Но это кажется —

виной тому глаза
навыкате,

как у аристократа;
причем они по-старчески умны
и холодны,

как в жаркий день водица,
которую мы можем насладиться
из родника...

Но для меня важны
два крылышка,
две маленьких строки
легчайшие,
под стать Анакреону —

там алый свет и свет бледно-зеленый
с сиреневым бегут вперегонки,
а синий их пытается догнать,
подобно им — неопытный и юный...
Но голубую ленточку июня
им никогда — увьи! — не разорвать...

Маргарита

Когда я в Маргариту был влюблен
и ночь была, и дверь была открыта,
открыто рассмеялась Маргарита:
— Ты не способен, мальчик, полюбить.

А я ее без памяти любил,
сплетенье рук и глаз ее созвездье,
и спутанных ресниц ее соцветья,
и губы, за которыми — печаль.

— О чем ты! — я обиделся тогда
и в темноте нашел ее запястья, —
ради тебя оставил я занятия
с древнейшими,

давно мой микроскоп
ослеп от паутины,

новый опыт
из-за тебя стал старым,
в самом деле,
уж бабочки гостят у нас неделю,
а я предпочитаю им тебя...

Мои пинцеты ржавчина грызет...
Единственная радость,
что в журналы
вселились тараканы,
но увяли
мои сачки...

из-за любви к тебе!

О том, что как ученый я погиб,
я промолчу, здесь разговор особый...
— Да, мальчик мой, любить ты не способен, —
сказала Маргарита в темноте.

Потом включила свет, нашла очки
и с шумом платье черное надела,
потом ушла...

Капустница влетела,
кузнечики спросили:

«Где сверчки?»

Потом проснулся кто-то на сосне,
потом — в сосне,
но тут же замолчали...

Я помню все:

весна была в начале,
и дождь в начале, а потом был снег...
Потом уже не помню ничего.
Моя работа бешено стирала
все, что мешало сбору матерьяла:
снег, Маргариту, время и весну...

Моя работа сделала меня
счастливейшим —
мы много пережили,
мы ссорились, на пальцах ворожили...
Она любила, кажется, меня...

А та — что мне казалось — я любил,
так и осталась просто Маргаритой —
прекрасной,
мне б хотелось — позабытой,
но не могу...

Сверчок

А есть еще сверчок.
Он у меня
четвертый год бессменно квартирует.
Пусть квартирует —
книжек не ворует
и сам их не пытается писать!

Но каждый вечер требует свечу
да рюмку тишины,
да чтоб страницы
вздыхали, и скрипели половицы,
и трескались обои иногда.

Я говорю:
— Вы видите — свеча
гореть устала и почти истлела,
и половица сотни раз скрипела,
и треснули обои —
почему

вы скрипку не берете,
отчего
я не могу услышать ваше пенье?
А он мне говорит:
— Для вдохновенья
я выпиваю рюмку тишины...

А где возьму я рюмку тишины?
Даже завмаг,
который все умеет,
ее в своей квартире не имеет...
И потому сверчок мой не поет...

Цикада

Вдруг вспомнилось, когда гулял по саду,
где желтый лист поминок ожидал:
суровый Дант не презирал цикаду —
одну из них он в клеточке держал.
Тогда такие штуки понемножку
входили в моду —
чтоб отвлечь умы
натруженные...

Дант смотрел в окошко —
окошко убегало за холмы.

А на холмах,
с кузнечиком играя,
овечка травкой набивала рот.
И Дант подумал:
«Это будет Раем», —
и обмакнул в чернильницу перо...

Пока перо по Раю поспешало,
холмы ушли —
их вытеснила мгла,
кузнечик смолк,
овечка убежала.
Дант не заметил —
может быть, ушла?

Все, что осталось — песенка цикады
о том, что лето, что тюрьма светла...
И Дант подумал:
«Это будет Адом»,
страницы Рая сбросив со стола...

Однажды ночью после работы

...Я распахнул окошко и весьма
приободрился,
паче по соседству
жила весна,
а всякая весна,
как помнит всякий,
очень пахнет детством,
еще — травой,
которая вот-вот
должна явить нам радость приобщенья
ко всем, кто дышит, думает, поет,
не требуя за то вознагражденья;
я поклонился будущим жукам
и бабочкам —
я жаждал с ними встречи,

стремился к ним
и волю дал губам —
они сложили:
— Где-же-ты-куз-не-чик?
Я сам себя за это обругал.
— Слюнтяй! —
я так себе сказал за это —
зачем спешить —
ты помнишь, что терял,
когда спешил?
Пускай спешат поэты,
а ты не торопись. —
И запахнул
свое окошко,
просмотрел Линнея,
послушал: спит сверчок,
и сам заснул,
себя, сентиментального, жалея.
Мне снились: Фабр, Марчелло Мальпиги,
я к Яну Сваммердаму шел навстречу,
но разбудили:
— Дурень, свет зажги!
Я свет зажег:
меня будил кузнечик.
Да, да, друзья,
вы можете сказать,
что я рехнулся —
я был в полном здраве:
он восседал —
коленками назад,
усищами —
налево и направо.

— Ты звал меня? — спросил меня сей муж.
И я воскликнул в полном возбужденье:

— Как ты пришел,
ведь в мире столько луж,
холодных, отвратительных, весенних,
они тебе вредны,

твой ветхий фрак,
твой колпачок не для летейской стужи!
Он грубо перебил меня:

— Дурак!

Ты звал меня —
зачем тебе я нужен?

Как я смутился!

Перейдя на «вы»,
стал объяснять, что вырвалось невольно
его святое имя,

но, увы,
он слушать не желал меня:

— Довольно!

Ты глупостью своей несносен мне!

Ты и тебе подобные болваны —
мне, и жене, и всей моей родне
мешаете во всем и постоянно,
мы из-за вас лишаемся подчас
всего:

домов, семьи, покоя, бани...

Чем меньше нас, тем меньше тайн у вас,
а вы без тайны склонны к вымиранью.

Когда сладчайший таинства туман
тебя покинет,

все тебя покинут.

Из-за таких, как ты, я создал план
переселенья в земли эндрогоинов.
Прощай!..

Он запечатался во фрак,
надвинув колпачок свой,
зол и тонок,
и выпрыгнул стремительно во мрак,
и мрак сказал:

— Будь проклят, энтомолог.

Я распахнул окошко,

я дышал,
как перед смертью, воздухом горчайшим,
я счастлив был:

я ничего не знал,
я ничего не знал —

как был я счастлив!
— Звезда! — сказал звезде я.

— Ночь, — сказал
плотнейшей тьме.

— Татьяна! — крикнул Тане. —
Я долго жил,

но главного не знал,
не знал, не знал, не знал,
что вы есть тайна.

О мысль моя!

О заусенцы лбов
моих коллег, разбросанных по свету!
Простите мне —

я вспомнил про любовь,
зачем-то уподобившись поэтам...

Последняя страница

Звук захлебнулся. Значит, быть грозе.
Жаль,
и с грозой я не увижу смысла
в своих мечтах...

Мечты натуралиста —
кому они?

Цикадам, стрекозе,

ночным жучкам, прорвавшимся на свет?..
Кого из них согреет это слово?
Ну разве что поэта Кобенкова,
и то лишь потому, что не поэт...

Снесу ему заметки на полях —
вдруг посмеется, кое-что поправит
и этим положение исправит
в своих делах и будет при деньгах...

В конце концов,

я слышал, что ему

и с музами невесело живется,
и с прочими,

и очень не поется,
но только непонятно — почему?

Звук захлебнулся, значит, быть грозе!..

Капелька жизни

Записки незнакомца

Детство

Дедушка косит сено.
Бабушка плачет от лука,
мама грустит над книжкой...
А я их люблю и люблю...

Зима

Долго летят снежинки,
долго топится печка...
Быстро горят поленья,
и догорает день...

Весна

Первое расставанье —
в море ушел кораблик...
Первая в жизни морщинка
от сумасшедшего блеска
велосипедных спиц...

Девочка

Девочка книжку читает,
а на ее коленке —

тень, лепесток ромашки,
капля росы

(там небо),
след от царапины —

слезы,
что высыхают долго,
солнечный зайчик —

больно,
стыдно на них смотреть...

Лето

Кузнечики поют, потом — пчела,
потом — жучок, а вечером — лягушки,
потом — две тишины —

земли и неба
стоят по обе стороны зари...

Осень

Осень — четыре поляны,
на пятой поляне — отдых,
слышно, как в левом кармане
треснула ножка гриба...

Дядя Сережа умер...

Дядя Сережа умер —
дети и взрослые плачут...
Смерть — это слезы многих,
долгий сон одного...

Звезды

Звезды не умирают —
они становятся светом...
Так же, как мы с женою
станем потом травой...

В такси

Еду в такси с любовницей —
смотрят на нас в окошко
сосны, огни, снежинки,
ночь и глаза жены...

Тишина

Вдруг на земле тихо.
Видимо, все живые
вспомнили вдруг о смерти
и испугались вдруг...

Капелька жизни

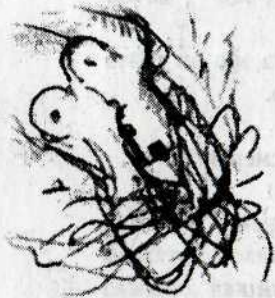
День — это капелька в капельке.
Год — это капелька падает...
Жизнь — это несколько капелек,
вспоминанье о них...

Родня



Из книг

«По краям печали и земли»,
«Подробности»,
«Послание друзьям»



Визит

Тетя Нехама уселась
на чемодан и сказала:
— Здравствуйте, я ваша тетя! —
А дядя Ефим сказал:

— Допустим, вы наша тетя,
но чем вы докажете это? —
А дедушка Лейб согласился:
— Должен быть документ.

Тетя всплеснула руками
и закричала:
— Мерзавцы,
биндюжники, мародеры,
я ваша тетя, и все!

— Это другое дело, —
сказала бабушка Эстер.
— С этого бы и начинали, —
дядя Ицик сказал.

И все закричали «вейзмир»,
бросились к тете Нехаме,
стали кричать и плакать
на несколько лет вперед —

ровно настолько,
насколько
смерть была терпелива.
Потом она тоже сказала: —
— Я ваша тетя, и все!..

Из семейного альбома

Историческое лицо
после ужина,
перед резнею
поднимается на крыльцо
историческое —
резное.

И лицу, и крыльцу —
хорошо:
всею глоткой, всей грудью дышат...
Перед ужином дождь прошел,
после ужина солнце вышло;

все, что может молчать, — молчит,
все, что знает про радость, — радо,
когда не вскрикнет,
не закричит
ни прабабушка,
ни прапрадед...

Оттого и легко лицу
историческому —
все лепо,
все понятно и все к лицу,
и крыльцо, и земля,
и небо.

И глядят на него поля,
строй домов и шеренги улиц...
Только я да мама моя
не хотим глядеть —
отвернулись.

* * *

Там все как прежде было:
уставших на путях,
хозяйственное мыло
отмыло работают;

спят бабушка и мама,
спит дедушка Абрам
и краевая драма,
приехавшая к нам;

собачка не залает,
не твякнут поезда,
и только ночь гуляет,
покуда молода:

шуршит она подолом,
закармливают сном,
хорошая, как шолом-
алейхемовский том

Но — чу! —

 никем не слышим,
при каске завитой,
опять на вахту вышел
пожарник молодой.

Покуда грянет зорька,
с биноклем или без,

он взглядом дальнотормим
прочесывает лес:

не вспыхнул ли подснежник,
дымит ли где багул? —
и взгляд его прилежен,
хотя и на бегу.

И думает пожарник,
разглаживая лоб:
— В черте Биробиджана
и за чертой — тип-топ.

Тип-топ на фирме «Мебель»,
на базе «Вторчермет» —
ни на земле, ни в небе —
нигде пожара нет...

Не видит он, не знает,
начальству не звонит,
как грудь моя пылает,
как сердце в ней горит.

А знал бы он об этом,
проведал бы о том —
навряд ли бы коллегам
скомандовал подъем:

в училищах пожарных
еще не говорят,
что делать с пацанами,
которые горят...

* * *

Мир еврейских местечек...

Печальный писатель Канович
еще помнит его. Там до дыр зачитали Талмуд,
там не хуже раввина собаки, коты и коровы
понимают на идиш и птички на идиш поют;
там на каждый жилет — два еврея, четыре заплаты,
там на каждую жизнь — по четыре погрома, по три...
Там еще Эфраимы, Ревекки, Менахемы, Златы,
балагулы, сапожники, шорники и шинкари.
Их скупому дыханью звезда запотевшая светит,
их смазным сапогам —

из полей палестинских песок...

Эмигранты империй, соломоновы бедные дети,
на повозках молитв отбывающие на восток...

Дай им, Господи, сил, дай им кихелах сладкие горы,
километры мацы и куриных бульонов моря...

Грустно жить на земле,

где еврейское горе — не горе,
трудно жить в городах, где не все понимают меня.

Там, где даль мне поет,

там, где ночи о прошлом долдонят,
там, где бамовский шов

в прибайкальскую летопись лег,
кто услышит меня и какой мне Канович напомнит
мир еврейских местечек со львами его синагог?

Кто мне лавку откроет, где молятся полки о хлебе,
кто мне Тору раскроет, которую слезы прожгли,
кто укажет перстом на скрипучую лестницу в небе,
по которой однажды за счастьем еврейским ушли
Эфраимы, Ревекки, Менахемы, Златы —

поэты,

балагулы, сапожники?

Кто загрустит обо мне,
прочитавши о том, как ушел я по лестнице этой
в мир еврейских местечек —

на родину, в небо, к родне?..

Стихи о моем парикмахере

Геннадию Базюку

У меня рубли шуршат в кармане,
у меня в мясном отделе — блат...
Жаль, что не живет в Биробиджане
парикмахер Мойша Марберблад.

Перед маем, перед новым годом,
за день до седьмого ноября
на глазах у честного народа
ангела он делал из меня.

Приглашая в старенькое кресло,
будто приглашая в новый дом,
он шутил:

 сначала — о невестах,
а потом — о будущем моем.

Песни пел — то медленно, то быстро,
и, вздымая бритву надо мной,
говорил мне:

 — Вейзмир, вам в министры
надо бы с такою головой!..

Ясно, что в министры я не вышел —
в этой жизни большего взалкав,
я шагнул в поэты —

 что повыше:
отыщи министра в облаках!..

Мне жена берет ночами вяжет,
птицы возвращаются на юг...
И никто хорошего не скажет
никогда про голову мою,

потому что Мойша отдыхает,
ничего не должен никому...
Мыльной пеной с месяца стекает
облачко —

 как памятник ему...

Сентиментальным становлюсь —
летят года: тик-так...
Люблю ли родину — боюсь,
не так люблю, не так...

Есть что-то в голосе моем
не для ее полей —
она не слушает о том,
как мне не страшно с ней,

кивает веточкой — «ага»,
шуршит ромашкой — «ась?»,
взбивает желтые стога,
советует смеясь:

«Поди росы ночной испей,
на травке полежи,
о доброте моей
своей
подружке расскажи...»

Воспоминание о счастье

Я жил на Первой Советской,
потом — на Второй Советской,
потом, поругавшись с мамой,
к бабушке уходил.

Бабушка говорила:
— Не вздумай гоняться за счастьем —
оно тогда и приходит,
когда от него бежишь...

И я побежал от счастья —
в книги, в библиотеки,
в драки, в леса и реки,
в песни и поезда;

женщины и самолеты,
сны и милиционеры,
служащие трех загсов
работали на меня.

За тридцать четыре года
никто из них не сказал мне —
баста, отваливай к счастью,
хватит тебя покрывать.

А это была работа,
требовавшая отдачи, —
четыре ищейки счастья
шли за мной по пятам...

Я приходил к актеру —
он хлопал большими глазами,
окна соседнего дома
рассматривая в бинокль.

Он восклицал: «Смотрите!» —
сквозь сладко-туманные линзы
я видел счастье актера —
родинку на щеке...

Я мог бы увидеть и больше,
но мне, как всегда, мешали
четыре ищейки счастья
многое разглядеть...

Надо было спастись —
я приходил к собаке,
к бледно-сиреневым зайцам,
прыгающим на холсте, —

собака смотрела на зайцев,
скалила девичьи зубы
и думала:

«Счастье — это
заяц а ля Матисс...»

(Сейчас она служит ромашкой
при холмике, на котором
зайцы машут ушами,
как кисточками Матисс.)

Я мог бы с собакой спорить,
но нам всякий раз мешали —

близость моих ищек
на ней поднимала шерсть...

Я стучался к Светлане —
она говорила «здравствуй»,
и слезы ее высыхали
быстрее, чем роса в лесу...

Она говорила: «Боже,
что со мной происходит —
 всю жизнь ожидала счастье,
а ты — несчастье мое...»

Я отвечал: «Я знаю...»
Мне нравилось быть несчастьем
на узких ее коленях,
под пеплом ее волос...

Увы, четыре ищейки
были за расставанье,
за полку в душном вагоне
над суতোлкой колес...

Солдатская фотография

На фотографии — один из дней,
когда сентябрь,

когда не стыдно плакать —
мои друзья, березы и собака,
две тучки

и с супругою своей
воробушек, и все, кто снят, стоят,
обнявшись тесно, у березы старой...
А Мармац обнимается с гитарой
и грустно улыбается, а я
пилотку снял, свой чубчик обнажив,
и книжечку листаю — это Чехов,
а в книжке той полно и слез, и смеха,
и между ними желтый лист лежит...

А между нами всеми — старшина —
не с кем-нибудь в обнимку, а с собакой,
и перед ним, смешные, как салаги,
по стойке смирно —

грусть и тишина...

Пианино

И я был старшим команды,
которая обеспечивала
генеральское переселение
из старого в новый дом.

Жена генерала нас встретила.
Она нам сказала вежливо:
— Пожалуйста, будьте бдительны,
ведь мебель у нас дорогá.

Я сказал:

— Не волнуйтесь, пожалуйста. —

И Иванову с Кошелем
мебель доверил, а Мармацу
велел посуду таскать.

Работать нам было весело.
Мы сразу вспотели, но все-таки
работать нам было весело
и интересно притом.

И все хорошо бы было,
не будь у них пианино,
трофейного пианино,
как выяснилось потом.

Именно на четвертом
застрял этот черный айсберг,

этот трофей фашистский,
этот стозубый осел.

— Давайте его частями, —
Кошель сказал.

— Давайте, —
сказал Иванов, а Мармац
пошел попросить топор.

Но, выяснив тактику нашу,
жена генерала вскричала:
— Да что вы, черти, рехнулись,
хотите сесть на губу!

А нам на губу не хотелось,
и наши робы промокли,
и кости наши прогнулись,
а лбы окатила соль.

И мы снесли пианино,
и на большой машине
везли его через город,
и город на нас смотрел.

За выполненное задание
я не получил благодарность,
но вчера в гостях у приятеля
за пианино сел —

нажал на клавишу черную,
потом на клавишу белую,
потом на четыре клавиши
подряд не спеша нажал

и вдруг увидел, как вечером
сидит генеральша старая,
как пальцы ее тяжелые
по желтым клавишам бьют —

лупят они по клавишам,
а клавиши ей откликаются
Ивановым, Кошелем, Мармацом
и старшим команды —

мною...

Записки солдата

Я ничего скрывать не стану
и сделать б это не посмел,
поскольку точно по уставу
пятнадцать суток отсидел.

Пускай совсем невиноватый
(вам дневники мои соврут),
я шел туда под автоматом,
куда за орден не пойдут,

и от рассвета до рассвета —
пускай докажут петухи! —
я прокайлил насквозь планету
там,
где не пишутся стихи.

* * *

Я возвратился на рассвете
в свой полусонный батальон...
Я был разобран в стенгазете
и от работы отстранен.

Но чтобы щи хлебать недаром,
не зря являться на обед,
я назначался кочегаром
на незначительный объект.

И, недовольному комбату
устав ответив назубок,
я расписался за лопату,
за рукавицы и совок.

...Уже деревья отшумели,
листва слежалась и на ней
сушились шапки и шинели
моих сержантов и друзей;

и воздух, на листе настоян,
покалывался, как щека
отца, сидящего в застолье
и захмелевшего слегка...

Я шел по улочке горбатой
и на веревочке волок
свой инструмент — свою лопату
и к ней привязанный совок.

И мой приятель из стройбата,
расхристаный как никогда,
спросил меня:
— Земляк, куда ты? —
А я ответил:
— Никуда...

* * *

Я поселился в кочегарке,
когда нагрянула зима...

По вечерам бывало жарко,
а утром — холодно весьма.

Я засыпал, не раздеваясь,
и был как будто ни при чем,
когда

— я слышал —

раздавалось
утрами жесткое «подъем».

Распоряжаясь сам собою,
снег сапогами вороша,
я шел в столовую без строя,
как на прогулку — не спеша.

Сержанту Мармацу послушен,
мой взвод в столовую шагал,
горланя песню про Катюшу...
А я не пел. Я размышлял.

О чем, вы спросите? О том, как
однажды к маме постучусь —
она платочек станет комкать
и засмеется, скомкав грусть;

о том, что все необратимо,
что нам отпущено не зря
смешное счастье мчаться мимо
апреля, мая, сентября...

Что одиночество — не страшно,
и что неважно, как живешь,

а страшно, если день вчерашний
на день сегодняшний похож.

И мир, казалось, был понятен,
но чтоб понятней стал стократ,
я посещал политзанятия,
как всякий мыслящий солдат.

В моих конспектах, слово в слово,
обозначалась день за днем
мысль лейтенанта Иванова
о назначении моем.

Стуча указочкой железной,
он подносил к глазам журнал
и важность всех партийных съездов
весьма понятно объяснял.

Однажды, будучи в ударе,
чтоб голословным не прослыть,
он доказал, что кочегару
возможно подвиг совершить.

Как полагалось, по порядку,
все возраженья отклонив,
я записал в свою тетрадку
два варианта.

Вот они.

А: отклонение удара
врага

при помощи огня

из автомата

и пожара
(пока не вынесут меня).

Б: трезвость действий (без угара)
и точность действий до конца —
в возможном случае пожара
(пока не вынесут бойца).

Теоретически возможны
и «А», и — следовательно, «Б»...
Но до чего же осторожно
шатался ветер по трубе...

* * *

Мне стало весело, как только
мои хорошие друзья
преподнесли мне в дар котенка
на день Седьмого ноября.

Мне дорог был и сам подарок,
и то, что он наверняка
был из потомства кочегаров —
он черен был до волоска.

Облюбовав теплейший угол,
он час проплакал, час проспал,
а пробудившись, стал мне другом
и сослуживцем тоже стал.

Когда нам с ним бывало плохо
иль просто не хотелось спать,
мы раскрывали томик Блока,
чтоб «Скифов» вновь перечитать.

«Да, скифы мы!» — мы повторяли,
колени черные обняв...
О как мы с ним переживали —
я — так, как он,
а он — как я.

За кочегаркой тьма летела,
мы были с Васьюкою умны
и на постелях черно-белых
смотрели розовые сны.

* * *

Окошечко заledenело,
и снег тропинки завалил...
Зима была большой и белой.
Она гуляла.
Я топил.

Я осмелел у замполита
и у жены его спросить
под роспись личную —
корыто,
чтоб уголь к печке подвозить.

Они три дня посовещались
(зачем так много — не пойму)

и очень нехотя расстались
с корытом цинковым б/у.

Идя в столовую, случайно,
не для того, чтоб сыто жить,
я раскопал в сугробе чайник...
И стали гости приходить...

* * *

Кому — не хочется встречаться
с начальством, кто — воды попить,
кто — посидеть, кто — потрепаться,
кто — рукавицы посушить.

...Метет на улице пороша,
звонят подковки каблуков,
и входит в кочегарку Леша,
хороший Леша Конаков.

В шинели чуть великоватой,
он снег старательно собьет
и, улыбаясь виновато,
две сигаретки изомнет.

И удивительно недолго
он будет тихо говорить
о Волге, а потом об Ольге,
которую нельзя любить.

— А почему нельзя?
— Жената.

— А мужа любит?
— Кто поймет...

Он смотрит в угол виновато,
он сигаретку мнет и мнет...

Что я скажу ему — не знаю,
такого не было со мной...

Я говорю:

— Я выпью чаю
за то, чтоб Ольге быть с тобой.

* * *

А вечером придет с гитарой
Сережка Мей,
такой, как есть...
Сережка кажется мне старым —
ему сегодня двадцать шесть...

С прозрачной карамелькой «Дружба»
он чай из баночки попьет...
Нам говорить совсем не нужно —
Сережка песню запоем.

Услышу топот лошадиный,
увидю белого коня —
«Скакал казак через долину,
через маньчжурские поля...»

Опять увижу: мама плачет,
Татьяна с рюмочкой в руках...

А конь все скачет, скачет, скачет —
через поля, через луга...

Он вовсе не родня Пегасу,
он просто конь, он весь в пыли
и будит лошадиным басом
воспоминания мои,

и мама плачет, слезы прячет
и невозможно — закурить,
заплакать, маму не испачкать
и обо всем поговорить...

* * *

Мы Новый год встречали с Васькой.
В предновогодней тишине
я сигаретами украсил
еловый лапник на окне.

Мы посидели, помолчали,
сентиментальные слегка.
Я быстро выпил кружку чаю,
а Васька — кружку молока.

Потом мы Блока почитали,
свет погасили...

Среди тьмы
нам не спалось, мы повторяли:
«Да, скифы мы!»,

«Да, скифы мы!»

И я был так сентиментален,
что вслух прощенья попросил
у мамы, а потом — у Тани
и этим Ваську рассмешил.

Не знаю, может, загрустил я,
а может, не сдержал себя,
но попросил страну:
— Прости, мне,
что мало значу для тебя...

И вдруг подумалось, что в стуже,
в дальневосточной стороне,
я все равно хоть как-то нужен
и сослуживцам, и стране.

Пусть, стать героем не умея,
я просто уголь ворошил,
но я согрел Сережку Мея,
который подвиг совершил...

Невезение

Где муравьи? Где птичье молоко?
Где ласточка, стригущая крылами
концовку сна?..

И эти далеко,
и те далече; снег не за горами,
а за домами; погибает сквер
в безветрии, в безлиствии, в бескрылье;
остыл фонарь, и милиционер
разогревается, пиная несессер,
забытый гражданином по фамилии
Сентябрь, — в нем блещут перышки щегла,
и фаллос махаона, да игла
пчелы волшебницы...

Является Октябрь —
плюется инеем и покрывает лужи
серебряными крышками, и стужа,
изображая брошенных котят,
мяучит — то по крыше поскребет,
то по душе...

Опять нам не везет.

Прощание с оврагом

Я — Анатолий, ты — овраг,
а те, кто
нас разлучат, не ведая о том,
что мы друзья —

Прораб и Архитектор,
какой-то ЖЭК и некто Управдом...

И грянут свадьбы, захлебнутся тризны,
вздыхнут борщи, срифмуются тела
над корочкой, что мыши не догрызли,
над лебедой, что тьму не допила...

Над тенью света, сетью краснотала,
моноклем филина и кашлем мотылька
взойдут дома, распустятся кварталы,
опустится всеобщая рука
на перышко, пропахшее скворешней,
на старые — из детства — корабли
и на тебя,

единственно безгрешный
мой родственник по линии земли...

Баба Сима померла,
долго жить нам приказала,
над тропинками квартала
в красной лодке проплыла...

На плечах, как на волнах,
бабу Симу укачало —
отнесло,
и тихо стало
там, где тихо не бывало
никогда, —

в очередях
магазинных, во дворе,
в ЖЭКе, наконец, у сына...
Снег летит на бабу Симу —
баба Сима в серебре!

В серебре ее чело,
веки, павшие на очи,
парафиновый платочек...

Бабу Симу занесло
высоко — столкнуло с небом,
с черной птицей, с белым снегом —
ни догнать, ни перегнать...

И снег пошел, и стало тихо,
и я, как в детстве, не стыдясь,
сравнил с пушистой зайчихой
пушистый день и вспомнил вас —
тяжелую, в тяжелой шали,
в слезах — и начал хохотать,
припомнив, как они мешали
вас целовать и умоляли
и требовали — целовать!...

* * *

Я видел дочь мою, которая живет
вне дома моего, с тех пор как в этом мире
ей лист кружит, и ласточка поет,
и детский стихотвор бренчит на лире.

Издалека, через окно и снег,
мгновение, как мать ей повелела,
она в меня, случайный человек,
так не случайно холодно смотрела.

И я сказал себе: вот жизнь твоя
и молодость,

которая вернула
твои безумства из небытия...

И в это время девочка кивнула.

Две колыбели

Умирает отец — на седьмое десятилетье
покатилась звезда его... Гаснут его ордена,
вянут шляпы, худеют костюмы; на свете
было много вина —

не осталось ни капли вина...

Были дети —

они разбежались куда-то —
ползунки разлетелись, захлопнулись дневники,
а потом сапогами стучали по дому солдаты,
а потом — мужики...

Это мы с тобой, брат, мужики.

Это мы загасили для жизни привычные звуки —
тише Леты течет на подушку отцовская прядь —
растекается ночь, наливаются силою руки —
им баюкать отца,

убаюкивать,

не отдавать...

Мы закрыли пивные, поставили крест на получке,
запретили собрания, переделали календари...
— Подожди, — я сказал, — я еще подарю тебе внучку.
— Буду ждать, — отвечал, —

только ты не тяни, подари...

И была мне любовь —

как декабрьское поле привольна, —
и была мне волна, и течение, и сила — чтоб плыть,

и была мне жена, и даровано было ей больно
нашу дочку носить, нашу жизнь от беды относить —

отнесла — защитила: больничный халат обрела,
позабылась в бреду, обругала меня — —

родила...
И явилась мне дочь, и пришли пред отцовское тело
свет и мгла,

и сошлись в него сосны, сбежались березы и ели,
и была мне печаль, затопившая душу мою,
и приставило время к губам моим две колыбели:
— Баю-баю-баю, баю-баю-баю...

Колыбельная

Даше

Баю-баю-баю...
Колыбель тепла...
Я не засыпаю,
чтобы ты спала.

Спит в садах варенье,
спит в минуте час,
наши отношения
спят, не торопясь.

Сны кружат и кружат
с севера на юг,
времечко утюжит
лысину мою,

и дано мне думать,
но дано не знать,
как под нею думы
будут протекать...

Утюжок старинный!
Для меня — беда,
для тебя — долина,
небо и звезда,

тусклая планета
и на много лет —

твой источник света,
мой источник бед,

что не помнит толком —
сатана иль бог
все твои пеленки
куревом прожег...

Дневник полночи

Немецкая готика

1

Обманывали, напивались, крали,
роняли шапки, глядя на луну,
и выкрали бессмертие,

и камень

уходит в небо, землю обманув.

Все на земле к бессмертию стремится:
и терпкий пепел бабочек ночных,
и дерево, и облако, и птица,
и наша жизнь зависима от них, —

нам всем туда, за теми, кто когда-то
был жизнью терт и небесами бит...

И ратуша с тарелкой циферблата,
как нищенка,

у вечности стоит...

2

Там дождь отпел, там соловей отщелкал,
там шелуха заката и зари,
и ангелы, и ангельские щеки
в рожок зари пускают пузыри.

И выхвачены в бреющем полете
туманными экранами долин

четыре тени — Шиллера и Гете,
Карамзина и, кажется, Катрин.

И током бьет, и видишь поневоле,
как бьет, крылом и крыльями гоним,
бессмертный дух, в космические соли
оплавленный безумием земным...

3

Гребенка шпилей, готика созвездий,
рябь черепиц и всполохи огня
о двух концах — на выходе и въезде
иных небес, летящих на меня.

Что жизнь моя в их вековом потоке —
воронка бездны? хрупкая звезда?
Как мир высок, как солон он при вдохе,
как сладок он на выдохе всегда!

Пуškai летит, ворочая светила,
живя в других, не помня ничего,
как тысячи, которым не хватило
ни губ моих, ни сердца моего...

4

Все прожито — мне полночи хватило,
чтоб видеть все и ведать обо всем:
мне ангел пел, бессмертие светило
и вечный камень был поводырем...

Там Гете жил. Там — братья Гримм,
там — Шиллер,
там — Гельдерлин... И памятник зари
несут из тьмы готические шпили
бессмертию, бессоннице, любви...

Все прожито и пройдено — осталось
перечитать последнюю тетрадь,
достать стило, перечеркнуть усталость
и в черном камне лишнее убрать...

Возвращение к другу

Я легкий — я летаю.
Дорога далека,
я крылышки летаю
остатками сачка.

За те мои летанья
сын на меня сердит,
за те мои летанья
жена меня бранит,

но есть воспоминанье,
которое велит

сказать себе «по коням»
и, отправляясь в путь,
шершавый подоконник,
как ветку, оттолкнуть...

Я грустный — я летаю
не просто чтоб лететь —
чтобы в краю далеком
на друга посмотреть.

А он при Мотылихе
за книжкою сидит,
следит за мной и тихо,
но внятно говорит:

— Зачем вы к нам летели
из дали неземной,
неужто захотели
поссорить нас с женой?

Давным-давно когда-то,
когда я молод был,
я вас любил, как брата,
как девушку, любил,

но многое свершилось,
и не затем,

чтоб вдруг
вы форточкой ошиблись
и лампочкой, мой друг!

Обдумавший столь много
о многом —

там и здесь, —
я спрашиваю строго:
зачем меня вам трогать,
когда другие есть?

Зачем вы,
над оврагом
вися на волоске,
не вывихнули ногу,
не канули в реку —
зачем хмельную брагу
несли на хоботке?

Кому же это надо,
чтоб вы меня нашли,

чтоб два кружочка ада
на крылышках внесли?

В каких томах старинных
рассказывает стих
о том, что паутина
на крылышках моих?...

К музе с кузнечиком

Все живы прозой: старые друзья
и новые, и все мои коллеги...
Не потому ли на твоих коленях
кузнечик непридуманный озяб?

Я вас люблю —

совсем не вопреки
всеобщей моде, —
потому что поздно
менять друзей, переходить на прозу
и превращать ладони в кулаки...

Пока вокруг о прозе говорят,
мы сигаретку на троих поделим,
заварим чай, поговорим о деле —
о том, что птицы скоро улетят,
что листья жгут

и завтра их сожгут,
и скоро нам останутся лопаты,
и дворники, и сумерки... Тогда-то
отыщут нас
и в гости позовут...

* * *

Из юности я помню только утро.
Я просыпаюсь в доме, о котором
никто не знает — ни друзья, ни мама,
ни бабушка...

Мне восемнадцать лет.

Мне холодно от головокруженья
и жарко от стыда — сегодня ночью
меня тягучей лаской напоили
на много дней,
на восемнадцать лет...

Как весело! Как страшно! Как скрипуча
четвертая ступенька под ногами!
Как зыбок город — улицам и скверам,
домам и паркам
восемнадцать лет.

День поднялся. А женщины не встали —
они вздыхают в розовых постелях,
как скрипки, на которых отыграли
печаль и свет... Им восемнадцать лет...

Я только что с одной из них простился,
сказал «Прощай», и сонная соседка
открыла дверь, и я сказал ей «Здравствуй»,
и вышло сразу — «Здравствуй и прощай»...

Прощай и здравствуй, мир невероятный,
замешенный на зависти и счастье!
Я так устал, я кончил десять классов
и никого еще не потерял...

* * *

На секретном авиазаводе
выпускали хмурую погоду —
выпустили белых журавлей...
Мы с тобой не виделись полгода,
минимум четыре ледохода,
максимум четырнадцать дождей...

Нам с тобой дорогу проторили
все, кто нынче осенью любили, —
дворники проспекты подмели,
слесари трамваи починили,
бабушки деревья посадили
по краям печали и земли...

* * *

Встретил и память свою погасил,
и ничего на земле не бывало...
— Помнишь меня? — почему-то спросил.
— Кажется, помню, —
зачем-то сказала...

Та же снежинка на том же пальто,
те же глаза и картавинка та же...
Господи, господи, мало ли что
поздняя встреча глазам нарисскажет...

Мало ли что наболтает рука —
господи, как она неосторожна...
Память погасла, земля далека,
и долететь до нее невозможно...

* * *

Старый мост размахнется в разбеге —
растасует во тьме острова —
хорошо целоваться при снеге,
даже если тебе тридцать два!

Так над городом звезды сложились,
так решились деревья цвести,
чтоб графины бессонных гостиниц
протрубили на нашем пути,

и уста лихорадит от спешки,
и тела им уснуть не дадут,
и во всех коридорах консьержки
о загубленной жизни поют,

и пока не прогонят, не съедем
ни за что...

А на случай тоски
разбегайся в просторном предсердьи
и о сердце точи коготки...

* * *

Тихая, добрая, злая...
На телеграфных узлах
многие женщины знают,
как ты меня обожгла.

Песня моя, Мариула,
от телеграфа до звезд
встали твои караулы
из расставаний и слез...

Горько, светло, одиноко...
Желтого неба парча
и расколдованный сокол
молча упали с плеча...

Слушай на темных вокзалах,
как голоса поездов,
глупая, добрая, злая,
брошенная звезда...

Вот какую жизнь мне помнится.
И такой она была —
с раскладушкой, но без комнаты,
с книжкой, но без угла,

разноцветная, голодная,
как тайга перед грозой,
и как елка новогодняя —
с разукрашенной слезой...

О весне

Сначала мы видим ее во сне,
где-то под Новый год,
в тот самый час,
когда тихий снег
на жизнь лететь устает.

О сколько тогда на земле тоски —
в складках ее одежда
прячут бабы и мужики
крылья своих надежд...

Еще пастух не пугал жуков,
не выкликал коров,
но очи баб

и глаза мужиков —
как крылышки у жуков;

еще трава от нас далека,
не ткнулся в овраг ручей,
но пахнет мятой твоя рука
на влажном моем плече,

и я четвертые сутки пьян —
с тех пор как гостят у нас
цыганка Ангина и Грипп — цыган
да Насморк, заморский князь,

и грудь проклевали мне сто врачей,
и стала она тончей,
и сердцу слышней,
 как из южных печей
вытаскивают грачей...

* * *

Спасибо лесу
за то, что — лес,
лосю — за то, что лось...
Нравится мне,
что для этих мест
трактора не нашлось:

и там — тишина, и здесь — тишина,
залежи тишины!

И коли не трогает их страна,
они для нее важны —

спасибо!

За небо, что за рекой
возится в камыше,
за то, что трубке моей

легко

дышится в шалаше...

Все, что надобно, —

под рукой,

рядышком,

при душе...

* * *

Я их не стану петь, пускай поют другие
волну косматую и паруса тугие.

О том ли говорить, как маятся маяк,
на дали и печаль раскалывающая мрак,

о том ли, милый друг,
что вековая соль
разъела мне глаза и растворила сон?..

В краю сырых ветров и мудрых рыбаков
я небо воспою —
оно без берегов.

* * *

Там галька шуршит и медуза горит,
там звезды поют в подолах аонид,
там цедят по каплям, что вдрызг солони,
то голос Гомера, то глас сатаны...

И все-таки грустно смотреть, как волна
на землю спешит и земле не нужна,
и думать,
что мы не счастливей волны,
коль в небо спешим и ему не нужны...

* * *

Покуда люди спят,
расхаживает море
по комнате —

как брат,
перегоревший в ссоре
и с мамой, и с женой,
допившийся до точки...
И чайки за стеной
расхныкались, как дочери.

Посверкивает мгла
там, где вагоны плачут,
где женщина ждала
до Слоки передачу
однажды...

Шесть утра,
а ратуша в тумане —
как старшая сестра,
распарившая в бане
радикулит,
как дед
в испарине от чая...
Его уж вечность нет,
а я его встречаю
не в занебесной мгле —
то в Майори, то в Слоке...

Неужто на земле
не все мы одиноки?..

Рыбак

Как только он выйдет,
его облака
облапят,
и дали морские облепят,
и вздрогнет душа его, ибо рукам
волна сообщит через улочку трепет.

И вспыхнет покой на лице рыбака,
и станет оно поэтическим,
ибо
начнут говорить в микрофон поплавка
по-своему — птицы,
по-своему — рыбы.

* * *

Леонсу Бриедису

Не потому, что горе
добило,

а потому
хочу умереть у моря,
что я все равно умру...

Хочу, чтоб неторопливо
на влажном песке сошлись
миг смерти и час отлива,
моя и чужая жизнь —

прибой и листы блокнота,
волна и моя строка
с пуговкой от бушлата
латышского рыбака...

Мальчик-стихотворец

Он печали с плечами рифмует,
слышит стих и не слышит людей...
Этот мальчик ничем не рискует,
кроме света для жизни своей.

Он не знает, как это бывает —
бесполезной строкой перебит,
этот свет навсегда убывает:
жизнь темна,
коли слово слепит.

Чье плечо он однажды оплачет?
В чьи колени падет головой?
То ли жизнь его переиначит,
то ли песня погубит его...

Я-то видел однажды, как где-то,
там, где редко присутствуем мы:
одинокие ангелы света
превращаются в ангелов тьмы...

Отрочества полоса

Древо темного стиха,
эпос эго,
 сверхэпоха
в летописях лопуха,
в повестях чертополоха;
тенивая полоса,
потопившая в вопросах
ласковые голоса
леса, ласточки и плеса;
опечатанная тьмой
многотомная зарница...

Господи,
 какой немой
с этой немотой сравнится!
И какой еще слепец
распознает в жизни этой,
где начало и конец
бытия,
 а где — край света?..

Лермонтовская полоса,
завершающая действо
— через похороны пса —
вдрызг заревавшего
детства...

Буддийский храм

Экскурсия

Белые пальцы ламы
дремлют на древней книге,
в думе своей прикусившей
ветку полыни...

 Стать бы
ламой, полынью, книгой.

Друг мой, поэт-философ,
пальчиком наступает
на переносицу —

 трудно,
вспомнив себя, как Шиву,
ищет свой третий глаз.

Помню, что запах полыни
явлен мне был болезнью:
в маминых пальцах вижу
желтый, как степь, пузырек.

И не тогда ли,
 в детстве,
когда я болел ангиной.
Шива ходил к нам,
 покуда
глаз мой третий не выкрал...

С другом, полынью, книгой
плачу о третьем глазе...

Слух и зрение

Прежде музыка была —
бесконечно, то и дело
одинокая игла
в пальцах бабушкиных пела...

Живопись пришла потом —
люльку ржавчиной покрыла,
за распахнутым окном
тополями наकाдила...

А потом они сошлись
на слове,
к стихотворенью...
Так и выстроилась жизнь:
где — по слуху,
где — по зрению.

Художник и флейта

Врачи наказали: — Не пейте. —
И, напрочь сточив карандаш,
художник играет на флейте
и глазом косит на пейзаж.

Там козы на тучах пасутся,
там воздух широк и глубок,
и дева, не в силах проснуться,
почти приоткрыла лобок.

Пока она не понимает,
что это смущает народ,
художник на деву взирает,
а флейта на деву орет, —

чиста, как умытый ребенок,
груба, как неструганый стих,
она не выносит с пеленок
ни плоти, ни женщин иных...

Художнику трудно и грустно —
он зрит, как искусство одно
не терпит другого искусства,
как дева летит за окно —

на воздух, на ветер, на дождик, —
как падают козы в траву...
Пойду собирать подорожник
и козочек с девой нарву,

налью им воды из-под крана,
рубаху рвану на груди: —
Гляди, подорожник, на раны,
а дева, — на шрамы гляди,

стучитесь копытцем, козлята,
туда, где от всех и всего
я утром художника спрятал,
а вечером — флейту его, —

туда, где (когда это было!)
все детство (неужто прошло?)
холстами насквозь просквозило
и музыкой напроць прожгло...

Душа

Не подчиненная рассудку,
дитя потусторонних сил,
она опять по первопутку
в края распавшихся светил.

Зачем, к чему ей эта скачка
в жизнь неземную — из земной,
от поселковой водокачки,
по горло залитой водой,

от леспромхозовского клуба,
от загорелого плеча,
от обжигающего губы
полустакана первача?..

Зачем,
с крыла не отряхнувши
земной тоски,
который год
она в космическую пустошь
мое дыхание несет? —

кому — распавшемуся камню?
слепой комете? зрячей мгле?..
Куда летит мое дыханье,
необходимое земле?..

Окликнуть или не окликнуть?
Поставить в угол? Проучить?

Рвануть крыло, втолкнуть в калитку,
к домашней жизни приручить...

Заставить мух глотать в скворешне,
но ведь и я — давным-давно —
летел с уроков надоевших
на запрещенное кино.

Тело

Как годы его перетерли,
как выстудил времени зной!..
Его уже в посох уперли,
с трудом подпирая землей.

Прошло, отошло, отгорело,
осталось —

глядеть да дышать...

Вернись в позабытое тело,
зарница, блудница, душа...

Его опалило под снегом,
метелью снесло на вокзал,
где губы порезало смехом
и залило плачем глаза...

Пока не пошло оно в дело —
на прах в предназначенный срок,
слети в одинокое тело,
душа...

мотылек, лепесток!

Я знаю, как больно и часто
оно откликается зло
на холод,

на горечь лекарства,
на шитое в шубу тепло,

и все же

— ты слышишь! —

покуда

мы рядом,

прошу не шутя,
займи свое место, Иуда...

блудница, девица, дитя...

Воспоминание о Вампилове

И отмеривши шагами
краешек земли,
мы однажды вместе с вами
полночь перешли,

Александр Валентиныч,
Саня — на часок...
Август спелой паутиной
холодит висок,

чтобы виделось не боле,
чем тому окну,
что глазницами — на поле,
а зрачком — в страну,

чтоб стакан вина сухого
и полночный час
через песенку Рубцова
рассмешили нас...

И смеемся мы, и плачем,
зная наперед:
будет смерть, потом — удача,
не наоборот...

* * *

Время наступает
угли ворошить
там,
где узловая
станция души...

Что такое время?
Все и ничего,
облако
и бремя
детства моего,

рыжая косица,
влажная щека,
возле ягодицы
ропись ремешка...

Время —
это юность
в общежитский час
мукой захлебнулась,
счастьем обожглась...

Время — это сети,
из которых мне
прокричали дети,
спрятавшись в жене.

Это кто-то лишний,
тот, кого не ждут,

это то, что мыши
по ночам грызут,

старая копилка
памяти,
а в ней —
медная копейка
доченьке моей...

* * *

Ночью,
когда не спит человек
(хороший или плохой),
с ним обязательно рядом
снег,
ветер и домовой.

Ветер твердит ему: «Повезет».
Снег говорит: «Пройдет».
Один к окну его подведет,
другой
в постель отведет.

А домовой,
который сто лет

думает думу здесь
о том,

что счастья земного нет,
а домовое —

есть,
его успокаивает:

— Прости,
но все твои беды — дым.
Станешь себя хорошо вести —
быть тебе домовым...

* * *

Оставленные, брошенные мной
давным-давно

Татьяна и Галина,
пришедшие из жизни неземной,
земную жизнь пройдя наполовину,
окликнули меня издалека,
и я иду,

шатаясь и сутулясь,
в ту нелюбовь,

в которую строка,
намаявшись на холоде, уткнулась...
И странно знать, что я не позабыл
ни слова, ни полслова, даже — знака,
и помню тех, которых не любил,
сильней, чем тех,

из-за которых плакал...

* * *

Мы хоронили Владика зимою,
метелило, был месяц до весны;
мы засыпали Владика землею,
своей тоской и иглами сосны.

Не ведая, как поступить получше,
чтоб Владика вернее схоронить,
мы всю его последнюю получку
пустили на коньяк,

а на свои —
все, что смогли, купили и достали:
могилу, гроб, тяжелые венки
и тумбочку,

а дальше мы не знали,
как поступать, и пели, дураки...

* * *

Я приеду и снег принесу на плечах,
стану долго курить, буду долго молчать.

Отмолчись, моя жизнь, отболи, отомри,
обреви, моя доченька, ночи мои,

оборви меня, мама, на усталой строке,
на смертельной тоске, на седом волоске...

Так случилось, так вышло, так выпало мне —
за дорогу домой, за полеты во сне —

ваши жизни корежить, вашей болью платить...

Я приехал,

давайте молчать и курить!..

Я приехал, но, господи, как нелегко:
до себя не дошел и до вас далеко,

и полы мне скрипят, и химеры поют...
Насвисти мне, кофейник, домашний уют,

нашуми мне, жена, я и этому рад...

Прокляни меня, сын,

обними меня, брат...

* * *

Уже пошли соленья по столам,
уже наливки, рождены для битвы
с хандрой осенней,

предлагают нам
тон элегический и слезы для молитвы.

Спасибо лесу, травам и грибам,
туманом залитым и дождиком политым!

Спасибо яблоку, разбившему окно
и семечком упавшему на дно
стакана влажного
(с ворсинкой от тряпицы,
его ласкавшей),

преспасибо птице,
крылом святившей небо и вино;

благодаренье всем, мешавшим мне
писать стихи, —

и вечеру, и утру,
и полночи, и дню —

часам, минутам,
и морю старому, и молодой сосне,
и вольным парусам — всем,

почему-то
меня оставившим...

И грустно мне, что снег
все зачеркнул,

а тех, кого любил,
жить без меня зачем-то научил...

Лесорубы

Киносюжет, 60-е

По субботам они в леспромхоз приезжают,
ходят в баню, распарившись, бегают в прорубь,
возвратившись в предбанник, из горлышка дуют
жигулевское пиво и вновь — на полук.

После бани — для тех, кто еще не женился,
в местном клубе японская аппаратура
по-английски хрипит, по-французски хохочет
и сибирские девы по-русски грустят...

А женатым — в носках колесить по паласам,
в жарких креслах сидеть, учиняя допросы
пацанам, умудрившимся за неделю
синяков насажать, горы «пар» нахватать.

Неженатые дев незамужних смущают
и любовью большой, и зарплатой огромной,
а женатые, выключив телевизор,
о зарплате сказав, про любовь ни гу-гу...

Неженатые бродят по темной общаге,
перед сном кто в окошко посмотрит, кто в книжку,
а женатые...

Впрочем, потом я различья не вижу
между теми и этими:

в сон уходя,

и женатые, и неженатые — хопом —
валят сосны, и падают сосны в сугробы,
как веселые девы в кровати обшаги,
как усталые жены в объятья мужей...

Подробности года

Подробности?

Их более чем надо
для летописца будущего: вывод
подразделений из Афганистана;
олимпиада в Калгари; Распутин,
восставший за Байкал; сенсационность
политреанимаций:

Рудзутак,
Раскольников, Бухарин... год Дракона,
час «Памяти», минуты снегопадов
тишайших; запоздалое застолье
Платонова, прогулки с Мандельштамом,
еловые иголки на подушке,
разрыв с семьей, тень Сталина; разлука
с привычным бытом; свара коммуналки,
соседское белье на батареях,
тьнь Бери, чужие шубы, шапки;
крещение Руси — тысячелетье
безбожного похода в божье царство
любви и воли; сходы неформалов,
обвалы рок-ансамблей, тень Иуды,
тьнь Жданова, ахматовская песня,
соседский плач, четыре мышеловки
на общей кухне — ночи не случилось,
чтоб нас не разбудила чья-то смерть...

Прозаик

Бросил пить и перешел на прозу.
Поменяв чердак на кабинет,
тянет неподатливую фразу
в трудно поддающийся сюжет.

Потускнел, расплылся, оплешивел,
будто не ему позавчера
ангелы ночные разрешили
в облаках шататься до утра...

Говорят, судьбина укатала,
бают, Бахус выставил за дверь...
Доигрались —
солнышка не стало,
дождались —
без солнышка теперь.

Пишет прозу — ночью не разбудит,
тянет фразу — в бездну не столкнет;
без стиха оставленные люди
трудно собираются в народ:

мысли — тише, настроенья — глуше,
память — безъязыка и глуха;
заплывают лозунгами души,
навсегда лишенные стиха...

Тащит фразу —

что он прозой скажет,
что нам объяснит он,
да и как?..

Забинтуйте облаком овражек,
подарите ласточке чердак,
подождите —

пусть его оплачут
боги поэтической среды:
запах дегтя, желтый одуванчик...
Дайте слово ветке лебеды.

Лес, в который не войдешь,
реки, по которым вряд ли
проплывешь (хотя и рад бы),
родиною назовешь.

По редакциям пойдешь,
по блестящему паркету...
До того как канешь в Лету,
сто ботинок изотрешь...

Отчего ж дорогу эту
родиной не назовешь?..

Мне захотелось жить неторопливо,
беседуя с любой тишиной
на краешке байкальского залива,
укрытого неспешною волной;

мне захотелось просыпаться рано —
не раньше птиц,

но прежде, чем поля
стряхнут росу, проступят из тумана
и превратятся в жаркого шмеля...

Я видел дом, увитый голубями,
я видел холм, баюкавший тайгу,
и девочку с чернильными губами —
на улице,

потом на берегу,
потом в воде...

И не понять откуда
пришло желание письма ей писать
про то, что стар, о том, что не забуду...
Как будто есть о чем не забывать...

* * *

Девочка однажды отсмеялась,
вышла муза,
звезды собрала,
в первые ворота постучалась —
не открыли —
с горя умерла.

Выплывают медленно из дома
тело музы, музыка и крест...
Шумные разлуки космодрома
заглушили духовой оркестр,

и легла за улицей дорога —
так знакома, так недалеко!..
Ни луча, ни Пушкина, ни Бога —
грузовик, ворота и кирка,

бедный Йорик, пьяная старуха,
сытая ворона на кресте...
Что еще —
нейтронная разлука?
атомная сказка в темноте?..

Стихи ушедшего

(Литературное эссе)

*Прошло, промчалось, пролетело
то, что отпущено судьбой,
и все, что выпросило тело
в своей субстанции земной, —
жизнь отлучилась...*

Эти строки
и те, что следом приведу,
писались мальчиком жестоким
на восемнадцатом году.
Мы вышли с ним на путь тернистый,
всегда немножко подшофе,
через каморки букинистов
и сквозь шпицрутены кафе:
мы были молоды, кутили...
Мне стыдно вспоминать сейчас,
что мы в те поры не любили,
а нас любили много раз...
Я помню адреса прелестниц,
вахтерши окрик «вы куды?»,
кружение общежитских лестниц,
глазунью со сковороды,
и запах пудры и помады,
и — «свет забыли погасить»,
и осторожное — «не надо»,
когда не надо говорить...

Увы, нас мучило бесславье
плюс недоверье ко всему,
что вне стиха...

Его тщеславье
всегда равнялось моему.
Наверно, потому усталость —
уже тогда! — то здесь, то там —
не правила, но прикасалась
к моей строке, его стихам,
и в них, бессовестно зеленых,
перекликались неспроста
печаль любви неразделенной
и разделенной — пустота...

Когда б не наше нетерпенье
попасть немедленно в печать,
ни одного стихотворенья
на скуке литобъединенья
мы не позволили распять.
Кто там бывал, тому известна
вся эта стихо-чепуха,
там вечный классик музыки местной
лысеет в паузах стиха:
любая метеокраса
его толкает рвать власа;
там представитель итээров
стога пейзажей навязал,
прилипли к горнам пионеры,
прозрели даль пенсионеры...
Как он над ними хохотал!..

Излишне груб, излишне весел,
он доказал мне без труда,

что их вынашивала плесень,
а принимала ерунда,
что только Сонечка Перова
в объединении здорова.

Я напишу ее, как помню.
Здесь мне понадобится лань,
осенний вечер, подоконник,
редакционная герань,
а вам понадобится это
принять, увидеть, а потом
(коль трудно осень, можно лето,
но чтобы дождик за окном)
смешать,

и вот портрет готовый —
немножко ваш, немножко мой,
а вместе — Сонечка Перова...

Мы приходили к ней домой,
в ее светелку, где пространно
беседовали обо всем
за бабушкиным чемоданом,
служившим Сонечке столом...
Я помню: он гитару тронет,
и песня сердце заметет,
и рюмку Сонечка уронит,
и рюмка, как и мы, поет,
и чудеса идут по кругу,
чтоб годы переворошить,
и он о Сонечкину руку
не может губы потушить...

Я глупо верил: так и будет —
ни некий день, ни некий час —

ничто на свете не остудит,
не разлучит на свете нас...
Когда б была у жизни сила,
я б ей еще прибавил сил,
чтоб вечно — Сонечка красива,
и он красив, и я красив...

Увы, он Сонечку оставит —
как только опадет листва,
он все на свете переставит:
пристрастья, судьбы и слова.
Он станет говорить о смерти,
потом — со смертью.

Всем чужой,
он темный путь ее осветит
полубезумною строкой,
и мир, косой ее снесенный,
как дерево под топором,
падет...

Я вспоминаю Соню,
когда подумаю о нем.
Я не сберег ее тетрадку,
но до сих пор не позабыл,
как в ней росой сверкали грядки,
царил снежок и дождик лил,
ведь я любил ее за то, что
она, как я писал, была
«вселенной болевая точка,
сшивающая свет игла...», —
есть в этом некая неточность,
но нынче мне она мила...

Увы, ни слова, ни полслова
мы не найдем в стихах его
про нас, про Сонечку Перову
да и вообще ни про кого.
В своем безверье бестолковом,
желая заглянуть вперед,
он позабыл о том, что слово,
что б ни случилось, прорастет,
что слово, брошенное в почву
печали,

через много лет
не радость, а печаль пророчит
и от нее защиты нет...

Увы, оно росло так быстро,
так поторапливалось жить,
что — глядь, и я уж в эссеистах,
и Сонечке не позвонить,
а он...

Вчера болело сердце,
но, медициною спасен,
я, с безоружностью младенца,
догадывался:

это — он...

*«Нелепо уповать на чудо,
когда рассудок сердце ест,
и я, повеса из повес,
не то что к флирту или блуду —
к любви теряю интерес...
Глядишь, и жить поднадоест...»*

*За что так рано песня спета?
За что сосна, уже раздета,*

готовится пойти на дом,
в котором жить на свете том?

Я там бывал, когда мой друг
земные глупости оставил
и я звезду над ним поставил
и с ней начну свой новый круг.

Пора — лужок на лес откинем,
корней решетку приподнимем,
булавкой сердце заведем,
гранит качнем и жизнь взорвем!

Она сомкнется на овраге,
меня затаптывая в тьму...
С тех пор я поселюсь в общаге —
сырую комнату сниму,

всплакну, прислушаюсь, услышу,
как общежитские жуки
работают,
вбивая в крышу
дырявый дождь и матерки,

как общежитская орава
галдит и думает,
как быть —
перевести меня на травы
или на бабочек пустить?..

.....

Прошло, промчалось, пролетело
все, что отпущено судьбой,
и то, что выпросило тело
в своей субстанции земной, —

жизнь отлучилась — понемножку
ушла, затихла, где-то там,
где ты одалживал мне трешку,
придешь — немедленно отдам.

Она печаль твою залечит,
но что печаль и что должок,
когда у нас с тобою встреча —
войдешь, и крышка в потолок!

Начнешь метать в меня вопросы:
что делать? быть или не быть?
А я о том, как пить забросил,
а ты о том, как начал пить,

и рифма, надчерница эха,
распорядительница муз,
начнет заштопывать прорехи,
от коих плакал наш союз, —

она тряхнет земные тверди,
как домотканый половик,
и душу вытряхнет из смерти,
и захлебнется от любви...

Я не о той любви, которой
ты травил общежитских дам, —

о той, когда вовсю за сорок
и Эвересту, и гробам,

о той, из-за которой строчка,
на паузах кровотока,
как пулю, сплевывает точку,
а та, как сердце, горяча...»

Мне грустно думать, что едва ли
мы так когда-нибудь писали:
на парусах моих творений
пылища полунастроений,
а на его — безлюбья соль;
тщеславьем, мукой словопрений,
скучищей литобъединений
мы были стрижены под ноль...

«Не на портрете, не в газете,
не на лахудре завитой,
не при писательском буфете,
не за строкой,
но под плитой —
так вышло, что на этом свете
мне захотелось стать собой...

Прошел слушок, как будто травкой
я должен стать, — тогда зачем
я жизнь веселую потратил
и трачу смерть —
чтоб стать ничем?

Нет, я сочту за оскорбленье
и за коврижки не пойду

на то, чтоб тыкаться в колени
твоим праправнучкам в саду.

Я жив —
мне весело и больно.
Недорасслышанный тобой,
споткнувшись на рифме отглагольной
или на крышке гробовой —

пойду бродить по жизни новой,
чтобы однажды добрести
до сердца Сонечки Перовой
и вбить в него свое «прости»...

Я и не знал, что так бывает...
Я думал, с жизнью разведут,
уйдут...

А жизнь не убывает —
воспоминанья не дают:

свиданья, слезы, расставанья,
хмель юбки и похмелье лжи...
Не торопись — воспоминанья
на после смерти отложи

и все, что с кровью оторвали —
и тень ресниц, и взмах руки
(кроме строки,

строку — едва ли), —
придавишь тяжестью доски...

Мне не дают уснуть трамваи,
и телефонные звонки,

*и та любовь, из-за которой
и Эвересту, и гробам
во все века всегда за сорок
и здесь и там.*

И здесь и там

*всегда равны любовь и жалость,
строка и боль...*

*Какой тут сон,
когда ничто не досказалось
ни до, ни после похорон,
и смерти нет...»*

Мне показалось,
что это написал не он...

Смешно — ушедшего оплавав,
не выбрать в жизни ничего,
кроме того, как в полумраке
писать и плакать за него.

Сближение душ? Сведение счетов?
Скажи, какая радость в том —
потустороннюю работу
арканить за полночь стихом?

Стихи ночные догорают
и полетят, куда хотят...

И встанет утро в медном свете,
и обдерет с души и щек
прикосновенья тьмы и смерти,
судьбы

и времени еще.

Спою для птички-невелички,
для птицы ворона спою,
как девочка плела косички,
а заплела судьбу мою,

как жил дружок на свете белом,
писал стихи — не дописал,
как умер он

и то и дело
меня ночами окликал,

как сладок хлеб, как ветер солон,
а там, где ласточка парит,
мой сын на дереве веселом,
как на плече моем, сидит,

и все, кто есть на свете этом,
согласные с моим дружком,
твердят о том, что смерти нету —
на этом свете и на том...

Я покажу такую фигу
тому, кто с нами жить устал,
что эта фигура станет книгой
о том, кто ночью пеплом стал,

и критик, или слесарь, или
поэт, печалью начинен,
прочтут ее

и скажут: — Были,
писали, мучились, любили...

И не прибавят ничего.

* * *

*Человек роет землю, подумаешь —
могила; ничего не бывало! он просто
садит дерево. Дерево отцвело, плод сва-
лился, падают пожелтевшие листья —
прощай, дерево!.. ничего не бывало;
плод осеменит землю, листья прикроют
его, — да прорастет зародыш!*

В. Ф. Одоевский

Гори, гори, моя звезда,
в стране,
где времени движенье
рассчитано на повторенье —
на возрождение, —

запах тленья
ему сопутствует всегда.

Глянь на грядущие миры,
которые,
в сосновых латах,
через века взлетят крылато,
чтоб заново — под топоры.

Ряды сосновые плотны —
там меж седыми валунами
по рекам,

что шумят над нами,
летят холодные плоты.

Свети, звезда моя, свети!
Пока нас жизнь с тобой забудет,
дай рассмотреть мне то, что будет,
то, что для многих взаперти...

Свети, жестяная звезда, —
траве, которой будут рады,
цветку, которому не надо
цвести для мертвых никогда, —

раскачивай резную тень
грядущему чертополоху...
Не возмущайся —

разве плохо —
хоть жабой, хоть чертополохом,
хоть червяком, но — видеть день!

Свети, звезда моя, не трусь —
через века

— уже немного —
закончится моя дорога —
я в небе деревом очнусь.

* * *

То птица, то комар, то самолет,
то тишина...

Уж лучше б Ольга пела
про юность, покидающую тело,
про боль,

что не проходит, но пройдет...
Мне хорошо — пока она поет,
она моей печали не поймет,
слез не увидит...

Но не в этом дело.

Мне хорошо: пока ей вольно петь,
мне вольно думать, что моя неволя —
нелепая фантазия, не боле;
я волен жить и волен умереть:
мне жизнь свою,

что прожита на треть,
ничто не стоит начисто стереть
иль заново перепахать,
как поле...

То птица, то комар, то облака...
Приходит жизнь, наполненная светом,
с автобусом, с автобусным билетом,
с Сократом у табачного ларька...
Пой, Оленька,
дорога далека,

судьба легка

и истина близка,
коль ты поешь...

И дело только в этом.

* * *

Я и правда тебя не знаю,
только помню, что надо мной
хлещет челочка вырезная
из ладошки твоей резной.

Плещет челочка надо мною,
а поскольку я из бродяг,
бродит челочка над страной —
над вокзалами,

где галдят,

дуют пиво,

ломаются в кассы,

и на каждого мужика

чья-то челочка, чьи-то косы

выплывают издалека...

* * *

Когда-нибудь, еще не старый,
давно уже не молодой,
я чашку старую достану,
чья ручка сломана тобой:

я пронесу ее от кухни
до комнаты,

до тех широт,

где, кроме вмятины от туфли,
никто не жил и не живет;

я пронесу ее, как птицу, —
так медленно,

чтобы успеть

в воспоминаньях заблудиться
и пальцы зябкие согреть...

* * *

И ты меня переживешь,
мой ангел,
а пока
переживи со мною дождь,
дорогу, облака,
сирень, которая цветет,
а завтра отцветет,
свирель, которая поет,
а завтра отпоет,
и смерть,
— которая придет
и к деду отведет...

Переживи меня, мой друг,
не покидай, мой друг,
ни первый луч, ни дальний луг,
ни предвечерний звук...

Ты рядом,
но уже сейчас
я говорю: любил, —
чтоб свет, которому без нас
и белый свет не мил,
светил тебе и в дальний час,
как час назад светил...

* * *

Все на свете остается —
ты уйдешь,
но не уйдут
ни деревья, ни колодцы,
что во тьме тебя найдут.
Ты и мнишь себя счастливым
оттого,
что все твое
остается —
и крапива,
и ожоги от нее...

Летняя история

Август—88

Я не был в этом городе, но он
столь важен для меня, что вроде как бы
я здесь гуляю:

натошак — крюшон,
под мясо — водка, а под пиво — крабы.
Здесь женщина живет, из-за нее
и я здесь поживу —

не объявляясь,
во всем храня достоинство свое
и таинство удерживать стараясь.

Вот и она. Лицо ее светло,
ее лопатки — крылышками птицы —
слегка приподняты,

их солнцем обожгло,
ей больно и поэтому не спится.
Раскрыв глаза, большие, как цветы,
в гостинице, подплавившейся за день,
она глядит на ветви темноты,
на листья тишины и тень Саади.

Не прибегая к помощи огня,
в горячей темноте нашарив блюдце
— под пепельницу, —

все события дня
она переберет, чтоб улыбнуться.

Работала, устала, в три часа
звонила мама, день казался длинным,
звонили к ней — чужие голоса
надсаживались:

— Приходы на дыну...

К ней пристают. Вчера пристал еврей,
позавчера — калмык и два грузина.
Один ей показался,

впрочем, ей,
скорей всего, понравилось, что Зина
его зовут — так мать ее зовут,
актеров Высоковского и Гердта...
Она пришла, на двадцать пять минут
припаздывая:

кто-то, как-то, где-то
ей объяснил, что это высший тон...
Зиновий, в пестром галстуке и джинсах
ее смутил, но главное, что он
вести себя прилично побожился.

Ей танцевалось. Маленький оркестр
в прокуренном кафе вовсю фальшивил,
но все, кто был там, вскакивали с мест
при первых тактах:

— Вы бы разрешили...

Зиновий разрешал. Она была
слегка пьяна, не более чем можно,
и потому, как рыбонька, плыла
и руки отстраняла: «Осторожно!»

Когда оркестр выдохся, они
на воздух вышли, Зина был возвышен

и сравнивал вечерние огни
со сливами,
а звезды — с лавровишней.
Ему хотелось близости. Она,
все понимая, глупо улыбалась,
но, несмотря на шепоток вина,
сдержалась, отстранилась —
разбежалась
в гостиницу.

Зиновий рвался к ней.
Она зевнула: «Страстные грузины...»
А между тем из комнаты своей,
свет погасив, рассматривала Зину.

Тот восседал на вишне —
весь в крови
созревших ягод,
злой, как сто медведей,
он клокотал и, требуя любви,
разбил окно и разбудил соседей.
Они кричали —
может, полчаса,
быть может, больше, но всему, как видно,
отпущен срок.

И ночь ее спасла:
никто не видел, как ей было стыдно.

Зиновий скрылся — бедный, он бежал,
вовсю хромая.

Господи всевышний,
какой позор, он женщину не взял,
он горько пьет, закусывая вишней.

Здесь можно бы и кончить:
этот пьет,
а та хохочет,
тот чернее ночи,
а эта расцвела и знай что бьет
по клавишам горячим что есть мочи, —
но я забыл сказать, что на гастроль
с театриком своим как концертмейстер
приехавши,

она здесь глушит боль
разлуки с мужем,

а на этом месте
нелишне будет объяснить, что я
имею отношение к этой боли
прямейшее:

как главная родня,
я разрешил ей ехать на гастроли,
короче, я ей муж.

Когда бы все,
что я пишу,

не так происходило,
я бы за стол, наверное, не сел,
и рифма бы ко мне не приходила,
и я бы в южном городе сто лет
жил-поживал бы:

мало ли что будет?..

Я ставлю точку, через час рассвет
и сердце, и глаза мои остудит.
Я разведу костер, сварю бурду
для верной псины
и, быть может, с толком

день проведу:

на рябчиков пойду,
не забыв собаку и двустволку,
и, может быть, примнится: жизнь проста,
как бег тропинки или гроздь рябины,
и дай мне бог, чтоб рябчики с куста
летели бы, как страстные грузины...

* * *

Василию Хлыбову

Здесь даль дождями заморочена,
налево — дождь, направо — дождь...
Пойдешь вперед ли — заболочено,
домой рванешься — пропадешь.

Но пахнет первой земляникою,
а над ближайшим озерцом —
как будто бабушка над книгою —
синичка с маминым лицом...

Мне все здесь более чем нравится,
я даже думаю, что я
обязан был,

чтобы исправиться,
приехать в здешние края...

Портянки над костром полощутся,
и дым табачный бьет в поддых
трех взрывников, двух чокировщиков
и геофизиков троих;

и я при них: сигарка сверчена,
и мне по нраву то, что здесь
не только птицы,

но и женщина,
Любовь Владимировна, есть.

Залив баранину подливом,
чаек наладив погустей,

она стоит, почти красивая,
над котелками всех мастей.

Обманутая мужем-пьяницей,
дотла спалившая мосты,
она сейчас мне больше нравится,
чем необманутая ты.

И потому что смотрит весело
и мажет ваксой сапоги,
и потому что занавесила
ночной рубашкой полтайги,

и тихо пьет, и шумно ссорится,
и плачет из-за пустяков...

Моя таежная бессонница,
не боле шага до стихов...

Читая Лу Синя

За моей избой — вся в смоле сосна,
да черемуха в белой пене...

Как вино в груди, разлилась весна
не мгновенно,
а постепенно.

Я прочел Лу Синя —
его А-кью
приходил ко мне,

весь в заплатах;
я читал и часто вставал к окну,
чтоб таких, как А-кью, оплакать.

Ни кола у них, ни двора,
увы,
ни подружки, ни крошки хлеба —
как трава живут,
если жизнь травы
столь неслышна и столь нелепа.

«У китайских писателей чистый слог...» —
оттого, наверно, и грустно,
что примерно то же сказать я мог
и о наших писателях,
русских.

Но сказать такое — как не сказать
ничего,
и верней, однако,

иногда — как в Китае —
горько вздыхать
и порой — как в России —
плакать
и смотреть в окно...

Я в окно смотрю:
тает ветер и снег вчерашний,
и бредет по лужам босой А-кью,
с нашим русским А-кью обнявшись...

Воспоминание о речной пристани

Олегу Хлебникову

Пахнет морем, но я из пьющих.
Скоро вечер, а я небрит...
Я б заплакал, но старый грузчик
делать глупости не велит.

Плачут чайки, рыдает чайник,
полдень моросью зенки трет,
и кричит на меня начальник,
будто, выкричавшись, помрет.

Бормотуха, тоска, зевота,
жизнь не прожита, но пуста:
ни пристанища, ни работы...
А на том берегу — Китай:

китайчата и китайнки...
Кабы только хватило сил,
я доплыл бы до них по пьянке,
по трезвянке бы полюбил —

жил бы с ними, не понимая,
как их раньше не понимал,
и, с китайцами выпивая,
по России бы тосковал...

*Стихи, написанные на краю
бурятской деревни*

Дом снимаю, супы варю да стихи слагаю —
потому и живу в бурятской деревне с краю.

В середине деревни — дома-терема: красиво!
А по краю деревни —
лопухи, лебеда, крапива,

а за ними сразу — поля из овса до неба,
а над ними сразу — все, что рождает небо:

облака и тучи, солнце, луна и месяц,
а когда их нету,
тогда видать серафимов...

То коса звенит, то топор гремит
то пила вздыхает,
а из труб дымок — то на крышах спит,
то на солнце тает,

петухи орут, кабаны хрипят, жеребцы икают —
то про жизнь твердят, то про смерть вопят
да порой гадают,
отчего я здесь да зачем я тут —
то гуляю,
то про дальний пруд, то про чей-то труд излагаю?..

Двадцать восемь дворов, двадцать пять быков
и полста буренок,

тридцать пять старух, да один старик, да четыре девки:
Вероника, Дарья, Любовь, Надежда.

Дарья младше всех, но умней других,
а красивей — Вера.

А смешливей всех четверых — Любовь,
но грустней — Надежда,
ведь она почти целый день поет о любви далекой —
на крыльце начнет да с крыльца снесет —
донесет до поля.
Коль молчит село да молчат поля,
песню всюду слышно.

Я б за песню ту все стихи отдал, все четыре книги,
и сто пять статей, и черновики, и в союзе членство,

а за голос тот, что меня томит, остальное б отдал:
и свои года, и клочок души, и огарок сердца...

За деревней пахнет душистым сеном,
а в деревне пахнет соленым потом.

А когда гроза на деревню прянет,
все четыре девки бегут с работы.

И покуда крыши накроет большая туча,
и на эту тучу ляжет другая туча,

а по ним пройдет, спляшет, присядет, топнет,
зарычит, залает, заблеет, в ладоши хлопнет

гражданин по имени Гром, по отцу — Небесный,
и покуда тучи

под ним

не треснут,
все живое будет про Гром судачить,
а потом устанет, потом затихнет, потом заплачет —

зарыдают крыши, корыта, ступеньки, ставни,
тридцать пять старух, да один старик,
да полста буренок,

двадцать пять быков и, конечно, четыре девки:
Вероника, Дарья, Любовь, Надежда...

Так светло и славно, уткнувшись в окно рябое,
заодно со всеми реветь и глядеть в окошко.

Пусть четыре девки траву без меня косили,
без меня сгребали, без меня сушили,
в скирды сносили,

без меня бежали по лугу в прилипших платьях,
но смотреть на дождь они без меня не смогут.

* * *

Ощущение печали,
размещение дождя
там, где мы с тобой гуляли,
мимо леса проходя;
там, где с косами ходили
вдоль покоса мужики,
там, где дятлы жили-были,
жили-были мотыльки...

Там уже не так приятно,
как случилось час назад:
фиолетовые пятна
зелень нежную едят;
пахнет сыростью и прелью,
но когда сойдешь с тропы,
под березой и под елью
спотыкнешься о грибы,
и задумчивые капли,
оттоптавшие листву,
станут прыгать нам на шляпы
а оттуда — на траву...

* * *

Этот город маленький
помнит как никто,
бабушкины валенки,
мамино пальто,
дедушкину тросточку,
песенку мою...
Я открою форточку,
город обкурю,
отабачу улицу,
площадь да проспект...
Мне сегодня курится,
а соседям — нет...
Вечер, одиночество,
с близкими разлад...
Оттолкнусь от форточки,
поплыву назад,
к радугам — по вторникам,
к снам — по четвергам,
на рюмашку — к дворникам,
на тоску — к врагам;
а потом — по пятницам
в клубе заводском
сладко пахнут платица
жженым утюжком,
в первых строчках шарятся
первые дожди,
надувные шарiki,
дутые вожди,

гильзы папиросные,
и, конечно, сам —
запрещенный взрослыми
Ги де Мопассан...
Все на расстоянии
вздоха моего:
встречи, расставания...
Все. И ничего.

*Стихи, написанные во дворе
поэта Козодоева*

1

И Гамлет говорит — «Слова, слова...»
Еще вчера, пока они звучали,
они, казалось, нечто означали
и значили,

а нынче голова
готова расколоться на дрова,
забиться в печи и дымить ночами,
пустые рифмы изводя на дым...

Стихи, стихи — мы все от них устали...
При всем при том герой моих исканий —
лирический поэт.

Пуškai не с ним
действительность, которой мы коптим
то потолки, то небеса местами —

он для нее уверенной рукой —
в литые строфы, полные туманом,
пересадил заросшую бурьяном
околицу, березовый покой
и юную доярку над рекой
с передовым бухгалтером, Иваном
Ивановичем.

На одной из строк,
когда Иван Иванович устами
припал к руке девичьей и перстами
ее бедра коснулся и восторг

его объял, —

поэт, который мог
ему помочь, позолотил восток,
завел комбайн и зашуршал счетами

бухгалтерскими:

расцветал овес,
картавил трактор, сельсовет и школа
вздыхали флаги, разбежался молот...
И голос козодоевский был молод,
как некогда, в краю родных береж...

2

В бухгалтере просматривался он,
его судьба — крестьянина, поэта,
писавшего в районную газету
с молодых ногтей; взойдя на небосклон
российского Олимпа, окрылен,
он много раз рассказывал об этом

и в книгах, и в беседах, и в статьях,
напутствующих племя молодое.
Принципиально требуя надоя
гражданского в лирических стихах,
он был суров.

Намедни Козодоев
читал меня.

Над томиком моим,
от возмущенья бороду ероша,
он внес меня в реестр нехороших
и закурил —

зеленоватый дым

презрел его и, несогласный с ним,
сжал кулаки и дал ему по роже, —

с тех самых пор синюшное пятно,
украшившее лик его румяный,
как Вечный Жид гуляет по экранам —
и телевизионным, и кино.
Ходили слухи, будто бы вино
тому виной,
но Козодоев пьяным

ни разу не был.

Многие слова,
на случай потребления проверив,
он беспощадно выставил за двери,
на пыльный двор, где трескались дрова,
валялась лужа, бегала трава,
мужали дети и лежали звери.

3

Среди зверей был гусь Галактион,
пес Аполлон и странная овечка
без имени, в колючках и колечках,
шершавых, как мозоли; изможден
семейной жизнью, гусь был разведен,
овечка вдова, но притом беспечна,

а пес влюблен был.

Народись я псом,
наверняка, однажды став влюбленным,
я бы мечтал во всем быть Аполлоном,
чтоб грудь — баржой, а ноги — колесом.

Но та особа, по которой сох
наш Аполлон,
была неблагоклонна

к его красе.

Он начал сочинять —
в немой тоске заламывая лапы,
он пел любовь, потом, как всякий, запил
и стал смердеть.

— Откуда этот запах? —
пытался Козодоев угадать.

4

Он вечерами выходил во двор —
в пижамных брюках, в тапочках больничных —
смотреть закат, дырявый от синичек,
и направлять потусторонний взор
к иным мирам, ведущим разговор
о будущем, святом и безграничном.

5

В то время как трагедия свела
всех в тесный круг, в то время как на время
гусь и овечка разделили бремя
несчастливого, и боль его стекла
в мою судьбу, —

поэтовы дела
по-прежнему покоились на теме
«гражданственной»:
он рисовал парад

9*

погрязших в изобилии совхозов,
он видел пашни во главе с березой,
вздвигающей закат, как транспарант.
Когда он опускал усталый взгляд
на пыльный двор,

он думал: «Это проза».

6

А я ту прозу знаю наизусть.
Я так люблю, когда она с рассвета
то кисточкой, то пряжкой от штиблета,
то провололочкой взбалтывает грусть
в моей душе, — когда вздыхает гусь,
ворчит овечка...

Дай нам бог поэта,
подобно псу! Дай бог, чтобы всерьез —
не только в рифму и не на бумаге
любили мы, дай нам, Всевышний, влаги
божественной для бесконечных слез,
которыми овечка, гусь и пес
омыли двор и выскребли овраги...

7

О Козодоев, где твое пенсне —
в газете «Труд»? в конторе счетовода?
в глуши полей? в глубинах небосвода?
на тракторе? Ты снова о весне,
опять в стихах кружится поздний снег
и песню запевают огороды.

А где любовь?

Где то, из-за чего
и ты рожден, и юная доярка?
Зачем ей по ночам бывает жарко,
зачем Иван Ивановича чело
не девичьи колени обожгло,
а длинные счета в густых помарках?

Оставь стихи!

Встряхнувши небеса,
как одеяло, — не оберегая
своих героев, постели стога им,
поставь им ширмой темные леса,
включи на ивах птичьи голоса
и, коли сможешь, звезды настружай им.

8

Любил ли ты? Случалось ли с тобой
то, что со мною: головокруженье,
и черная тоска, и униженье,
и ангел смерти в бездне голубой
с веревкою, затянутой петлей,
намыленной прилежно, —

неужели

ты не любил?..

9

И я сегодня стар,
избит тоской, тщетой обезоружен,

но опыт мой иным поэтам нужен,
я жизнь свою с овечкою листал,
мне гусь внушал, что жизнь моя чиста, —
я чистоты в ней мало обнаружил,
но все-таки...

10

Уж осень на дворе,
короче дни, косматее туманы,
овечку умыкнули в рестораны,
гусь улетел за тридевять морей,
дрова редеют, злобствует Борей
и Аполлон зализывает раны...

Но жизнь моя гармонии полна:
там, где вчера любовное ненастье
свиристествовало,
сердце сушит снасти;
накатывает новая волна
иную жизнь, иные времена,
а вместе с ними — новое несчастье,

и в этом счастье.

Так заведено,
иного нет, а если есть иное,
то и оно наверняка такое,
какие мы, и с нами заодно
действительности вечное вино
из горьких трав печали и покоя...

* * *

Спасибо всему, что на этой земле
еще остается: строке, на столе
сомкнувшей крыла свои; свету,
который, как мы с тобой, тысячи лет
отыскивал эту планету.

Спасибо всему, что случилось: губам
распахнутым, снам, что наснились,
спасибо ломившимся к нам тополям
за то, что они были дадены нам
на счастье и в счастье сложились.

Спасибо за то, что могу говорить:
— Спасибо, — за то, что могу повторить:
— Спасибо, — и вновь повториться:
— За то, что нас жизни возможно лишить,
а жизнь ничего не лишится.



90

Воспоминание о Сократе



Из книг

«Круг», «Осень:
ласточка напела...»

* * *

Книжек не было. Было желание читать:
понимать; там, где очень смешно, — хохотать,
там, где страшно, — пугаться, не в шутку страдать...
слезы — в семь и в семнадцать... почти сорок пять,
и пора б тормознуться, пора — приустать
и от жизней чужих, и от боли чужой...
Третья смена соседей за третьей стеной,
и иная жена голодает со мной,
и, казалось бы, сам уже полуживой,
а — при книжках...

Не это ли держит меня
на веревочке ночи, ни ниточке дня?..
Влажный Диккенс и влажносоленый Гюго,
и державинский глас, и Гомеров глагол...
Вот и Пушкин окликнул. И Гоголь пришел.

* * *

И пил я весь год с Володей
о двадцать четвертом годе...
И девочка Мариула,
не ведавшая невзгод,
во мне до конца тонула
(а может — наоборот:
я падал в нее, как в море,
переплывал ее,
как счастье,
потом — как горе,
как небыль
или — былье...).

И мчали Москвой пролетки,
и мучилось все и вся —
от встреч и разлук,
от водки —
до ангелов в небесах...

Так было.
Или — примнилось,
разъехавшись вкривь и вкось,
но что-то во мне сместилось...
Поэтому и сбылось.

* * *

И холодно, и задувает,
и ветер флагами играет,
и не спеша, по одному,
мое отечество стекает
в могилку светлую, к нему.

И я, бродяга, гоп-со-смыком,
под четко вышепченным рыком,
не понимая ничего,
между узбеком и калмыком
стекаю в смертушку его...

Кому еще в толпе московской —
задуманной по-маяковски,
в свои неполных двадцать лет —
исполненный по-смеляковски,
иркутско-чуйско-черемховский
язычник, варвар и поэт?..

* * *

Есть одиночество и тоска,
облако и река,
и тень — от кепки большевика
да башни броневика.

Есть ностальгия по городам,
где грезилось под «Агдам»... —
кому повем я, кому отдам
тихую радость, что здесь и там
топчет мальчик, не по годам
суровый, грозя жидам?..

Есть неуслышанная тишина
на доньшке шумных дней,
еще — невидимая страна
в родной для меня стране,
еще — черемуховая весна,
но тоже — почти на дне...

* * *

А когда надо мной пролетел Крокодил,
я припомнил: он юн был и в школу ходил,
и его вызывали к доске: — Крокодил! —
и шептал ему класс: — Там, где Африка, — Нил!.. —

и, подсказки лоя, он ушами водил,
и бубнил Крокодил: — Там, где Африка, — Нил!..

Вдруг я вспомнил: он в детстве конфеты любил,
а потом, повзрослев, лимонад полюбил,

а потом одноклассницу нашу любил,
и на небо смотрел, и по лужам бродил,

а потом, постарев, навсегда позабыл
всех, с кем в школу ходил,
всех, с кем дружбу водил...

Он летит надо мной, без руля и ветрил,
золотой от любви, голубой от чернил...

«Там, где Африка, — Нил», — я ему говорил.
«Там, где Африка, — Нил», — он за мной повторил...

Повторил и оставил меня Крокодил,
и кому мне сказать: «Там, где Африка, — Нил»?..

* * *

Сергею Иоффе

Это потом, потом
вылепится вчерне:
ласточка за окном
неба на самом дне, —

буковка букваря
с зернами запятых...
Это и буду я
или, возможно, ты, —

родственники морей,
правнуки мытарей,
выдумка декабрей —
элин и иудей...

Это потом, потом,
после декабрьской тьмы —
ласточка за окном,
то есть, возможно, — мы,

пасынки падших толп,
в беге от сих до сих,
времени перетоп
с трешницей на такси...

Воспоминание о Сократе

Не смерть меня пугает — что нам смерть!
Печальнее — болтать о ней не смей,

чтоб — брата окликав, имя «брат»
произнести, как «Рай» или как «Ад»,

чтоб, от вина отяжелев, сквозь сон
позвав Зенона, произнести: «Харон»

и, все запутав, тихо произнести:
«Есть тихий мир, отмеренный на деств,
неств элина и иудея — есть
цикута,
не допитая до днесь...»

* * *

Я люблю этот город, потому что люблю,
потому что деревья и крыши люблю,
потому что в киношку пойду по рублю,
потому что за трешку — раздружок воробью.

Я люблю этот город, потому что трамвай
разрезает туман, как тугой каравай,
потому что в кармане его карамель:
листопады, снежинки, дождевики, капель...

Я в плечо его плакал, за охалку рублей
я прочел в кабаках его книжки Рабле;
на последний червонец, с предпоследней треской,
я в кафушках его пропитался тоской —

и качает меня, и несет в никуда
заводская бурда, городская беда...

Я люблю его осень, и стены, и сень...
Эту дре-, эту бре-, эту дрень-, дребедень,
древедень телефонов, перебрень суеты,
голубень горизонтов, лебедень высоты...

Я люблю его бабок из бак и слез,
перепрыжку ухабов с костылями берез;

на березовой ветке, при ольховом седле,
доберусь я до Леты, на сосновой игле
спо-
ты-
каясь...

* * *

Люблю смиренное кладбище,
куда — когда наступит срок —
и я впишусь, один из тыщи
счастливых служащих и нищих...

Оплачет дождь, Борей освищет,
облапит снег, и корневищем
береза посадит висок...

Пускай мой вздох жена отыщет,
когда из влажного жилища
он вырвется:

«Да видит Бог,
мне по душе остатки пищи
с моих помин, и мужичище —
его печалище, кайлище,
бабище, псище, голосище...

И то, как он за голенище
пахает свежий «Огонек»...

* * *

Слезы глушат, радость прячут,
хлебушек жуют,
а еще — напившись, плачут
или же — поют.

А еще: светло и грустно,
робко и темно
вдруг потянутся к искусству —
сбегают в кино...

Им апрель играл на дудке,
на валторне — март,
им в июне — незабудки,
в августе — томат;

листопад им пропипикал,
ахнула зима,
по-матросски свистнул Пикуль,
маленький Дюма...

Я их слышу, слышу, слышу,
мертвых и живых...
Это люди, это мыши,
это дети их...

Черных, белых или рыжих,
видимых почти,
я их вижу, вижу, вижу,
нацепив очки,

в старом доме утром стылым,
при осенней мгле:
две царапины на стуле,
крошки на столе...

* * *

Слушать, как поет вода,
как она живет в тумане,
обнимая невода
дяди Пети, тети Ани.

Слушать, как поет петух,
перекрикивая ветер,
клюв нацеливши на слух
тети Ани, дяди Пети...

Слушать, видеть, понимать,
но при этом постоянно,
забываясь, вспоминать:
как там Петр? как там Анна?..

* * *

Это я, невыспавшийся, страшный,
не вчерашний, а позавчерашний,
проморгавший первую зарю —
забываясь, без тепла и брашна,
отчего-то жизнь благодарю.

Это мне — из замкнутого мрака,
из тщеты, из пьянобуерака,
пьянодня и пьяноянваря —
четко вторит дальняя собака,
по-собачьи жизнь благодаря...

Это нам — неведомо откуда —
дудочка, дыхание, остуда...
Это нам припухшая заря
шлет свое мучительное чудо,
за безумный вой благодаря...

* * *

Вы спрашиваете, кто я? А Никто.
Я дед Пихто, я старое пальто,

дырявый зонт, дырявые носки,
смотритель ночи, пасынок тоски;

я посох из залысин и сучков
Иова,

я, быть может, сам Иов,

горошинка для дудочки — дыхни,
качни ее, под музыку столкни,

под песенку из влаги и огня...
под плетеньку, под петельку меня...

* * *

Я дерево, и я хочу воды,
сляуны птенца и облачной сляуды;

я облако, и я хочу не знать,
куда мне плыть и где мне ночевать...

Я человек, и я хочу туда,
где сладок хлеб и солоната беда;

я старец, и поэтому пойду
туда, где ночь играет в чехарду;

я мальчик, и поэтому хочу
в стихи Никитина, где через строчку «Чу!»...

Чу, дерево, чу, облако... молчок...
Чу, старичок, чу, мальчик... червячок...

* * *

Надо выучить английский,
хорошо б еще — испанский,
хорошо бы, между прочим,
суахили одолеть.

По-испански я бы — с Лоркой,
на английском я бы — с Шелли,
а на влажном суахили
я б с соседкой говорил...

А с тобой, мой бедный ангел,
нам достаточно того, что
тишина шуршит за книжкой —
то за этой, то за той, —

предостаточно предлога
листопада,
окончания
снегопада,
корневого
слога вечера и дня...

* * *

Надо бы тебе купить
что-нибудь на воскресенье:
ветра «фьють», синицы «фьить»,
неба звездоговоренье...

Пусть еще один должок —
в две монеты, в три монеты,
но куплю тебе лужок,
не докошенный на метр!

Не доем, не докурю,
сэкономлю на перцовке,
но с твоей руки в мою
прыгать божией коровке...

Хорошо бы ко всему
этому —
простую малость:
чтоб над книжкой про Муму
поревелось, повздыхалось...

* * *

Андрею Чернову

Дерево, которое люблю,
одиноким птице уступлю,
песенку — усталому соседу,
перочинный ножик — кораблю...
Завтра я уйду или уеду,

послезавтра напишу: ну что ж,
я уехал, потеряйте нож,
взбейте море, птицу накормите,
отнесите дерево под дождь,
песенку от страха сберегите...

* * *

Мне бы хотелось оставить то,
что связывает меня
со всем привычным: рабочий стол,
метки на простынях,

подушки, рукописи, углы...
Я, кажется, вспомнил, где
на солнце расплавленные волю
по губы стоят в воде,

я помню, как пахнет овечий сыр,
знаю давным-давно,
как цепко цепляется за усы
пальмовое вино,

как плачет младенец, и сонный хлев
разжевывает ему
зубами Марии — пушистый хлеб,
глазами рассвета — тьму,

и солому с коленок сбивают волхвы,
и голубь стучит крылом
по белым холмам, и бегут холмы,
как годы: холм за холмом...

* * *

Простимся навсегда —
на влажные ресницы
нахлынут поезда, накрывышкуют птицы,

затупятся шипы,
и допылают розы...
и ветра шепотки,
и топотки морозов...

Простимся навсегда —
с распавшейся ресницы
дорога в никуда из никуда всклубится:

осенние дворы,
весенние кладбища,
воздушные шары,
спасающие нищих...

Все каплет, все зазря
и не зазря слезится...
морозы декабря, ведомые ресницей —

на прозу января,
на песенку апреля...
и ласточки горят —
то носики, то — перья...

* * *

Александр Князеву

Не вычеркни, не вздумай, не смоги! —
не сделай так, чтоб убаюкать в сносках
Сперанского державные шаги,
вольнолюбивый шепоток Волконских,

речитатив рождественской пурги,
глашатаев ее иерихонских;
и топоток, с которым сапоги
сбивают лепестки созвездий конских...

Еловый благовест, кедровая тоска;
в сугробах серебра редчайшей пробы —
собачьи, человечьи, волчьи тропы,

и в шепотке — не испугала чтобы —
безумца Пушкина безумная строка
из «разума лишившейся Европы»...

* * *

И мещанин, и маклер биржевой,
и черненький Далма, и ржавый Фишер,
кто с тросточкой, кто — с думой, кто — с женой —
все из-под крыш, под небушко — без крыши.

Чу, чудное гулянье на Большой,
при фонарях, фонариках, афишах...
Ах! в госпитале с болью ножевой
городовой — весь почернел, а дышит.

Не Чехов ли склоняется над ним? —
шнурок пенсне набух державной кровью...
Вот батюшка подходит к изголовью:

библейский стих сластит кадильный дым...
Всем ведомо, что всяк соединим
со всяким состраданьем и любовью...

* * *

«Не проходи!», — «Сударушка, сюды!» —
в грибных гирляндах, в сполохах соломы
рассыпали торговые ряды
янтарный хариус и серебристый омуль...

«Для барышень — конфект». — «Для бороды —
наливочки!» — «А вам, как гастроному, —
кваску? рассольчику? Прикажете воды? —
брусничной — из лесу? иль тминовой — из дому?»

Копчености, соленья, пояса
зайчатины («Намедни добывали»),
и меха изумрудные обвалы:

червлёный соболю, жжёная лиса...
И глиняных свистулек голоса,
и водочка под хариус... «Куда вы?»

* * *

Открыть бы стору — холодно и лень...
Трещит башка — от водки, от искусства
(«Ах, Бальмонт!»), от Нинели, от Ирен,
от Татианы... Баловень Иркутска,

в теченье часа я не встал с колен,
беседуя с Нинель... Смешно и грустно —
все прожито... охота перемен,
политики, реформ... охота сусла...

В Иркутске святки: жарко от гульбы,
все — пироги, всяк — в маске, все — в шампанском...
Полозьев скрип грозит непостоянством...

Который час? За кофею с пасьянсом
не услыхать, как в тереме крестьянском
какой-то Троцкий требует борьбы...

* * *

Потомок иудействующих славян,
и шут, и плут, и некогда — стилиага,
люблю богослуженья лютеран:
бумажные цветы, латыни влага,

святых видений крашенный туман
и ряд скамеек... Пусть, душе во благо,
ведомый Бахом, шествует орган
к созвездьям, как к причастию — бродяга...

Черна одежда, но душа без зла,
темна латынь, но радужны надежды,
и души, без обувки и одежды,

спешат туда, где неба бирюза
смежает, как ребенок... — не глаза,
а как дитя — не очи... может, вежды?..

* * *

Ермолочки, фуражки, киверки...
И, кажется, с рождения седые
витые пейсы, и лапсердаки,
и бороды, как пейсы, завитые...

Я слышу, как привстали на носки
слова молитв, тоскою налитые, —
так гаснет свет, так гибнут мотыльки,
так с матерью прощаются впервые...

Боль без Голгофы, мука — без Креста...
Есть только грусть, и радости не будет,
и Лазаря не воскресить, и люди

смыкают очи, заперев уста,
дабы не видеть светлого Христа
и не послать проклятия Иуде...

* * *

Когда они пируют, рубль к рублю
плюсуя и на трассе голоса,
я думаю о том, что я люблю
в их голосах тоску полудесную.

Я юность их проспал, но не просплю
их старчество; их пиршества рисуя,
я их расположением рискую,
когда сучок на трубочку рублю...

Есть в тополях иркутских то, чего
не отыскать в их братьях зарубежных —
есть нечто от студентов безмятежных,

есть что-то от девиц, в постелях — нежных,
в миру — чужих, в посланиях — небрежных
и непригодных к жизни кочевой...

* * *

Этот город мной прожит,
перечтен, пережит —
от случайных прохожих
до кладбищенских плит.

Он мне душу угробил,
на стишки натаскал,
он меня осугробил,
обдожил, обтесал.

Трудно в городе этом,
ради Ванек и Мань,
слыть последним поэтом,
пить последнюю дрянь.

Я не с теми, кто вышел,
чтоб построить и сместь,
ибо с теми, кто выжил,
чтоб за столик присесть,

чтобы взяться за кружку,
чтоб к той кружке припасть,
чтоб послать, как подружку,
на три буквы власть...

Я люблю это племя,
этих ангелов дна,
этих военнопленных
трепотни и вина,

этот гул, эту пляску,
полусмех-полустон,
эту страшную тряску
на ухабах времен...

К этим лицам опухшим,
к этим жадным губам
я толкнул свою душу
с портвешком пополам.

Пью за пьяную сволочь,
за кураж фраеров,
за подвальную горечь
запрещенных пиров;

среди рыжих и русских,
с кем знаком-незнаком,
пью за взгляд Иисуса,
запыленный дымком...

Выйду ночью на площадь,
чтоб подсматривать, как
ветер дали полощет
и обкомовский флаг, —

то звезду к нему лепит,
то ударит луной —
между ангелом в небе,
Иисусом в пивной...

* * *

Никуда не уеду из этого дома, из этой
робкой жизни, с дешевой котлетой, с газетой
полузрячей; из рощицы, полураздетой
жадным ветром; из жизни — с щелястым клозетом,
с панорамой на поле; из жизни — с поэтом
недочитанным: где-то
я такого найду?.. Никуда не уеду из: лета
отшумевшего, осени, вышедшей к свету
налетевших снегов... У кого-то и этого нету,
нет ни жизни такой, ни дороги, которая в Лету
отведет, как домой, или — к дворнику, или — к поэту,
или — к женщине...

* * *

В городе этом под этой луной
кто-то уже пролетал надо мной;

Я уже с кем-то сюда приходил,
«баюшки-баю» кому-то твердил....

Возраст ли, время: предзимье, предсон?..

Я ли в иные миры занесен,
или иные миры на меня
вышли с ищейками, мщеньем горя?..

Я уже где-то
слыхал этот гул,
я уже с кем-то
встречал этот шквал, —

он ли однажды ко мне завернул?
Я ли когда-то к нему постучал?..

Где кипяточек мой, где наш стакан,
Марк мой, Лука мой, Матфей, Иоанн?..

* * *

Я бы обнял тебя, убаюкал бы враз, но сейчас
возникает пейзажик, и длит расстояние меж нами
час Марии, младенца, пещерного сумрака — час
Вифлеемской звезды над бредущими к свету волхвами.

Я не боле, чем плотник, за срубом сработавший сруб,
назаретский босьяк, с молодухой намыкавший горя,
рогоносец от Бога, на Бога имеющий зуб —
оттого, что не голубь... Зачем, Гавриил, я не голубь?

Собирайся, Мария, наливай в свою грудь молоко,
желтой пяткой ударь в голубое ослиное брюхо!
И гора, и верблюд поскорее пройдут сквозь ушко
полустертой иглы, чем печаль через Богово Ухо:

авоз-авоа... Вифлеем, коли можешь, прости
кровь твоих малышей... Как в прабабкиной песне поется,
авоз-авоа... Я, конечно, могу их спасти,
а спасу Иисуса, Марию, себя, рогоносца...

Бегство в Египет

Варе

Я, как Иосиф, стар, а между тем
ты — девочка, и я навечно выпит
боязнью за тебя... — бежим в Египет...
Прости-прощай, сибирский Вифлеем!

Вот ослик наш — небесный самолет...
И наши провожатые — светила —
в его копытца тычутся уныло,
и завтра Илия их подберет...

Все издавна бегут: кто — в письмена,
кто — в пиршества, кто в плен бежит из плена...

И мы бежим, и тают постепенно
твои пеленочки, мои пелены
и бледного Египта пелена...

Монотонная песня

Было:

Иван	Давид
родил	родил
Марию	Ревекку
Мария	Ревекка
родила	родила
Ивана	Давида
Иван	Давид
родил	родил
Марию	Ревекку
Мария	Ревекка
родила	родила
Ивана	Дору

так монотонно

поет

древо моего

ро

да

Когда бы витязем я был,
быть может, у нее
я бы случайно позабыл
фамильное копьё.

Но я не витязь, а поэт,
и некого винить,
что ничего такого нет,
что мог бы я забыть...

* * *

Я к вам приеду, но — потом,
должно быть, по весне —
на стол с вином, на суп с котом,
на прошлогодний снег...

Я к вам приеду босиком,
быть может, с узелком —
на одуванчик под окном,
на птаху за окном...

Я все исполню, но потом,
когда войду в ваш дом,
как первый гром, как старый гном,
на палочке верхом...

Иерусалимский ослик

Цветам и травам должное воздав,
он веточку омелы вдел в копытце...
Мне ослик нравится — особенно, когда
он не в меня, а в грусть свою глядится.

И вижу я, что эта грусть светла,
и наблюдаю, как она сказалась
на всех живых, иначе бы листва
не пела бы, а ты не улыбалась.

И мнится мне, что многие парят —
кружатся лежа и взлетают сидя,
когда в саду на ослика глядят
и что-то видят или мнят, что видят...

Спасибо ослику — особенно тому,
что, подчиняться правилам отчаясь, —
уже по свету, а не по уму
или тряпью мы осликов встречаем.

Спасибо ослику — за то, что он живет,
за то, что мы присутствуем при этом...
За влажный взгляд, за плюшевый живот...
За то, что он явился к нам с приветом...

Давай с тобой в рентгенокабинет
его сведем, и всем на радость снимем
и грусть его, и тот большой привет.
что он принес из Иерусалима...

Знайте, что я вас помню —
кожей, ладонью, сердцем.
Вы для меня, как поле —
полюшко.

Или детство.

Те, что пришли за вами,
все, что за вами встали,
стали уже словами
или ничем не стали.

Их голоса и слезы,
радости и печали —
так, как листва с березы,
с жизни моей опали.

Вы — до сих пор не слово.
Или почти не слово...
Дудочка крысолова
в пальцах болиголова...

* * *

Чем дале, тем темней... Отважиться, рискнуть ли
прервать себя в пути, переведа на быль
сумятицу строки, расстроенность рисунка? —
Кто в землю, кто навек в шкатулочную пыль...

Туда, где паучок возвел свое жилище,
где одинокий жук проносит свой фонарь
сквозь косточки родных, сквозь лабиринт кладбища,
где Ева и Адам, Иосиф и Фамарь...

Туда, где скарабей, смолой сосновой пойман,
враз — небо, и песок, и камень, и волна...
Он потому и жив, что ничего не помнит —
светла его печаль, но суть ее темна...

Смотри меня на свет, таскай меня в кармашке,
в светелочке своей любовницы теряй —
в гирляндах бигуди, в ее ночной рубашке,
где всякий шовчик — Ад и каждый рубчик — Рай...

И прах, и скарабей: и розовая смола,
и грязноватый стих — все я, и там и тут:
то светлый лабиринт, то темная светелка,
где помнят и молчат, не помнят и поют...

Попытка анкеты — 41

Нет, собаки у меня
не было —

не подарили,
то ли не уговорили
ни одну,

и ни одна
не встречала, не ждала
никогда...

И это грустно —
жизнь прошла, как пьяный грузчик:
что давали, то несла...

И синицы у меня
не было —

зачем синице
я, который две столицы
на провинцию сменял?

Да, собаки у меня
не было,

и певчей птицы
не было,
но — коль порываться
в памяти,
на дне корытца
памяти —

была родня:
тетки, дядюшки,
была

девушка,
была подружка...
Раскладушка-расплодушка,
жизнь прошла, как побирушка:
что давали, то брала...

Р. С.

Не хватало новостей,
постоянно — недостача
одинокства, гостей,
безалаберности, плача;

не хватало тишины
или шума;

не хватало
осени или сосны...
денег тоже было мало;

не хватало на строку
малого огня,

но было
так,

что вам бы, сосунку,
дыхалку перехватило.

Ависага

И покуда ночь из сада
загребает, как веслом —
ласточкою,

Ависага,
напои меня теплом;

напои бесплотье плотью,
и покуда катит дни
жизни вал,

полущепотью
поцелуев обмани;

поле ложа, холмы кресел,
холмочревия свои
черным семенем из чресел
полумертвых

напои...

Под струями водопада
сплпшихся волос не надо
ничего —

все дело в том,
что еще глоток из сада
райского,

шажок — до Ада...

До тебя ли, Ависага...

До тебя, Авессалом...

Корзинка

Оле

У птицы есть гнездо,
и есть нора у твари...
Я птица,
я и тварь:
есть у меня гнездо
и теплая нора —
я годы государю
на кухоньке своей
с утра и до утра.

Я чаще здесь пишу,
чем ем,
но реже плачу,
чем хохочу,
и здесь,
как жадный иудей,
я главное добро —
свои писанья — прячу
в корзинке для белья
из ивовых ветвей.

Я думаю, что в ней
(но бесконечно прежде,
чем я ее нашел
и привязался к ней)
по голубой воде,
звездой и рыбой между,
грызя свой ноготок,
плыл мальчик Моисей...

Смешно, но раз в году
меня светло тревожит
ветхозаветный сон:
на кухне, у стола,
сидит моя жена
и слез сдержат не может:
«Корзинка уплыла!»
Корзинка уплыла...

Полотна Шагала

1

Полотно Шагала — это я
у своей прабабки на побывке;
это праздник,

это у тряпья —
латочки,
у обуви — набивки;

это кашель пьяных половиц,
это, среди плесени и гнили,
тихий мальчик Изя Горовиц
скрипку взял...

и слезы тети Цыли
на цветах пикейных покрывал...
это осень;

это дождь на крыше...
Это все, что Марикел Шагала
допоеет, допишет и додышит...

Лоскуты надежд, обрывки сна,
а еще — с кошерною едою —
улочка,
которая ясна,
как стакан с небесною водою...

2

Полотно Шагала — это ты
за руку взяла меня, и значит,

жизнь моя чего-нибудь да значит,
ибо рядом — ты и облака.

У тебя хорошая рука —
легкая, как слово,
а мозоли —
как плоды паслена или соли
крупные кристаллы —
холодят.

Если мы оглянемся назад,
мы увидим, как раскрыла Тору
наша жизнь,
которую к забору
привязали,
и забор знобит...

Слышишь, как о смерти говорит
(как о жизни) бабушка,
ты слышишь —
яблоки попадали на крыши,
половицы скрипнули в доме?..

Я тебя за плечи обниму,
потому что мы с тобой оттуда,
где золой оплакана посуда,
перхотью оплакан лапсердак,

а селедка — ржавью,
а чердак —
перьями, котами и мышами...

Нам они ни в чем не помешали —
мы с тобой их в небо принесем...

смешные,
как Шолом-Алейхем...
Это мы.

Так мы пели —

Пели, как могли.

радуясь селедке,
хлебу, молоку,

на наших грядках,
сдобренные нашим потом, жили
и чеснок, и бульба...
и любовь.

на земле, на небе,
иногда — на перьевой перине,
иногда — на облаке:

и деревья... как люди

на ладонях
родственников

или на идеях
тех, что не успели нас понять...

* * *

Вот и зима —
зимушка,
ласковый зверь,
ноша-сума
будущих наших потерь.

Руки твои
вряд ли уже отогреть,
губы твои
вряд ли уже отомкнуть...

Разве что спеть?
Что ж,
как-нибудь,
как-нибудь...

Надо бы петь,
принято так, говорят:

если уходят,
песни поют, говорят...
Про пароходы,
да годы,
да синенький плат...

Синий платочек,
девушка, вечер, боец...
Зимние ночи,
вьюга...
Неужто конец?..

* * *

И пошло, с бесконечностью наперевес,
природы непостоянство:
листва заняла — от земли до небес —
все видимое пространство:
поосыпался лес,
и сентябрьский бес
то с поцелуями в морду полез,
то — с бесовщиной — в стансы.

И Ольга моя
захлебнулась в слезах,
как будто к водопроводу
ее подключили, и на глазах
все состарились: стих и птах,
агент «Госстраха», его «Госстрах»,
и вместо «привет» звучало «ах»,
и в каждом «ахе» слышалось: «страх»,
и ворон не «кар» закричал, а — «крах»,
и под каждую шляпой заныло: «прах»...
Так до слез

довели

природу.

Оттого с небес
и посыпалась муть...
И подумалось: взять бы ее, завернуть
в пикейное одеяло
и отправить в Америку —
пусть кто-нибудь

поймет, что у нас
особенный путь,
и особая статья,
и особая жуть,
и все мы такие,
которым свернуть
в сторону — не пристало...

* * *

«Из одра и сна воздвиг мя еси»,
убей мое тело, а душу спаси,

прикрой меня светом, раскрой мне тетрадь,
и душу укради, и сердце растрать...

А я свое тело — на скользкий полук
из досок тоски на гвоздочках тревог,

а я свои очи — в пустой потолок,
а свои ночи — в тугой узелок... —

всю жизнь в узелок, всю родню в узелок...
Вот Бог, я скажу им, а вот вам порог,

тропа на земли и тропа в небеси...
Из одра и праха воздвиг мя еси...

* * *

Полугорсть бытия, говорящая плоть —
это, Господи, я, черновик твой, Господь.

Это я — это Каинов пламень во мне,
это в Кане вино и купель в купине...

Это, Господи, я — тот, чья глотка черна,
бедный Лазарь, из гроба восставший вчера.

Это, кажется, я — оглянись, Назарей —
белый ослик, бегущий при мамке своей...

Это я — это тень в Гефсиманском саду,
та, что гаснет в Эдеме и светит в аду.

Это, Господи, я — превратившийся в слух
распоследний солдат и последний пастух,

это я — зрячий посох, слепая карточка...
Это, Господи, я, обратившийся в речь

блудный сын, выкликающий отчий порог,
как поющая тварь и мычащий пророк...

* * *

Александр Зорину

«Лето Господне»: и Марк, и Матфей, и Лука и
лгун Иоанн, и сквозь праиудейский туман —
толпы язычников с вытянутыми руками,
горстка — с щепоткой перстов — христиан.

Так нелюбимы, любимы и так непонятны,
полуслышны и слышны, и расслышаны так,
будто трава убегает из жизни обратно
в тихую землю, и светом становится мрак...

Влажные лики иконописи: Мария,
ангелы, бедный Иосиф... библейская грусть...
выйди на волю, сбеги я от века, умри я —
так не возрадуюсь, не удивлюсь, не скажусь...

Голубя плеск, переплеск, перелаточка неба,
перелицовочка тьмы, и тщеты, и светил,
перестановочка в мире, в котором я не был...
был или не был? Может быть, не был и был?..

* * *

Картавящие щеколды, заикающиеся крючки,
гвозди-петельки, гвозди-занозы...

О замки и задвижки, кусавшие языки —
мои и Маринины — в рождественские морозы!

О железные Бобики, медные Шарики, свинцовые Полканы,
снегопийцы, солнце- и дождееды,
о железные Феликсы, отбившие от шпаны
наши никелевые велосипеды!

О собачки, приставленные хранить
смоляные поленья, их розовые опилки,
кто — когда вы умрете — возьмется вас хоронить
и, купивши портвейна, явится на поминки?

Все, кого стерегли вы, в лучшем случае — облака,
или розовый пепел, зола и щепы, не боле, —
что они без Щеколды, Крючочка, Задвижки, Замка,
что им воля, хлебнувшим нашей неволи?

О железные воины, нас покидающий класс
гвоздержавопитающихся, послушных не тлену, а сплину,
о собачки, вчера подстерегшие нас,
меня и Марину!..

Старый джазмен

Старый джазмен,
чьи остатки волос
разноцветны, как гул дискотеки
(польская хна, ассирийская басма, российская сивость) —

старый джазмен,
чей слух переперчен Армстронгом,
а пересолен: где — Каунтом Бейсси, где — Диззи Гиллеспи
(черные блюзы, белая ночь диксиленда) —

старый джазмен,
прикупивший и домик, и шлюпку,
чтобы глядеть на Байкал и бродить по Байкалу
(зубы корявы, а пузо — огромно и лаяй,
руки лохматы, а щеки — что колкий шиповник) —

старый джазмен
уверяет меня, что оставил
гам ресторана и грохот эстрады заради
древней старухи, чей дом «через дом», чьи напевы
ежевечерне он слушает, сладко рыдая.

— Ах, как поет! — говорит он, — ах, как она плачет!
Это не голос, — твердит он, — а божье стенанье:
Фицджеральд Элла байкальской старухе не пара.

Я восседаю со старым джазменом при грядке —
влажные сумерки нас накрывают попоной,

белые звезды над домом джазмена пылают,
а через дом нарождается странная песня.

Голос старушечий в диком узоре из ритмов,
в странном пасьянсе из звуков и слов, и мелодий
ходит на цыпочках, тянет мосластые руки
к скалам Байкала, к старому сердцу джазмена.

В голосе этом вывих и выверт суставов
слуха и зренья, рифмовка трехглазья Будды
с ухом Бетховена, пир слепоты с глухотою...
плети шаманства, круги шарманства, жезл шарлатанства...

Если по правде, то мне этот голос не в радость —
слишком криклив он, слишком плаксив он: старуха
явно из правнучек тех маляров, что угодны
Моцарту были и столь неуютны Сальери...

Странно мне видеть тяжелые слезы джазмена,
стыдно глядеть в его очи глазами сухими,
горько мне думать, что старый джазмен — это Моцарт,
страшно поверить, что я — это бедный Сальери...

Очерк

Алексею Комарову

Я бы, конечно, писал о другом,
но день случился таков,
что в одночасье да через дом
хоронят двух мужиков.

Мертвые: ниже травы — лежат,
тише воды — не глядят
в серое небо, где солнца шмат
тучи с утра когтят.

Живые: им до лежанья пять,
может быть, три часа,
а до того, как лежмя лежать,
еще языком чесать.

Бабы: к этому подошли,
к другому — не разберешь,
какой был вытащен из петли,
какой налетел на нож.

Парни: над этим стакан бабах,
над тем по стакану тож...
поди, разберись, от кого на губах
горечь — не отдерешь.

Дети: постарше крутят любовь,
помладше — при леденцах...

Племя младое меж двух гробов,
как меж колен отца:

«ехали-ехали, в ямку — бух!»
Весело детворе,
проще простого считать до двух:
ямки сегодня две...

Там, где ямки, там тишина,
глина, слезливый снег,
те же граждане, та же страна,
небо — одно на всех:

справа леса да слева леса —
тем, кто останется там,
птичьи да заячьи голоса
будут слышней, чем нам;

слева, где Саша лежит — светло,
справа, где спит старик,
землю, бедную, повело,
разодрало на крик;

там, где просекой лес прошит,
окошки — один к одному:
то ли кладбище к ним спешит,
то ли они — к нему...

Жизнь обозрима предельно, а смерть,
как она ни близка,
сказала нам: — На меня смотреть
можно, но с далека...

* * *

Сергею Григорьеву

В подвале художника крыса жила,
какао пила и хозяйство вела.

И друг мой художник — когда запивал —
не думал о быте и горя не знал.

— Художник, художник, — твердил я тогда, —
ты с крысой навечно, а я — иногда...

Я знал эту крысу, не знал, почему
мне выпала птица, а крыса — ему.

Я знал его жизнь, но не знал, отчего
она не моя, эта жизнь, а его...

Не в меру завистлив и в меру тверез,
я шел к нему в гости в жилетке для слез

(жилетка, жилетка — как очи жены,
твои сухожилия слезой прожжены),

я шел к нему в гости, уже за версту
расслышав, как лапка прилипла к холсту,

как бьется она, как дерется с холстом,
сеча его дали сторуким хвостом...

— Художник, художник, — волнение уйма,
кричал я ему, угощением гремя.

И он расцветал, получая портвейн,
и пела она, принимая ликер...

Ах, как выпивалось нам под помидор,
в то время как крыса крошила эклер...

— Художник, художник, не спи в башмаках, —
несчастливая крыса молила в слезах, —

художник, художник, не спи под столом —
щекой на щели и на кисточке лбом...

Ах, в эти часы из жилетки моей
легко выжималось с десятков морей...

Когда я из пьяного сна выплывал,
я слышал, как крыса уютжит подвал:

послушные ей, то метла прошуршит,
то встанут навытяжку карандаши,

то кисть, разбегаясь со скоростью «Ту»,
сквозь бури палитры летит по холсту...

Художник, художник, я понял в тот час,
кто дышит за нас и кто пишет за нас,

что счастье твое и несчастье мое
зависит от лапок и зубок ее...

Старая барменша

Старую барменшу — бывшую веточку,
клонившую голову над стойкой Дома актера —
старую барменшу —
тяжелую, как куст сирени,
побывавший в объятьях дождя, —
старую барменшу
уже не поднять на руки,
не донести до кровати,
разом целуя розовую щеку,
разрывая черную юбку
и белую кофточку...

Старую барменшу
вернее верного сравнить сегодня
с еловой ветвью,
потрепанным томом,
дырявым мундштуком столетней трубки...

Я еще встречу ее —
столкнувшись с ее красной лодкой,
рассекающей воды Леты,
разбивающей земные недра —
бредущей меж корешков и корней
в сторону Иерусалима,

ибо вчера,
когда я пытался найти для нее
подходящую вазу,
заметное место на полке,

надежную тень у скамейки, —
старая барменша
расплакалась, вспомнив,
что отец ее был евреем.

«Ах, зачем я это скрывала!» —
причитала она под рюмку —
«Ах, зачем я отца стыдилась!» —
говорила она, покуда
я рассказывал ей про Агнона,
утверждавшего, что после смерти
все евреи заняты тем, что
перекатываются под землею
в сторону Иерусалима...

Монолог

Юрию Кублановскому

Там жили ласточки в гнездах рыжих,
а змеи жили в сырых дровах,
там в кладовой помещались лыжи,
кроли и бабушкина трава;
там кот ходил любоваться мышкой,
там уж вылакивал молоко,
и было грустно с хорошей книжкой
проститься враз, а с плохой — легко;
там почтальоны носили письма,
навоз носили грузовики,
старухи — кеды и коромысла,
а бабы — шляпы и каблуки;
там говорили, что жизнь — «что дышло».
а вместо «срам» говорили «страм»,
и в каждом доме был коврик вышит:
над речкой храм, да и в речке храм;
там пели мало, грустили множко,
бывали смерти, случалась пьянь;
там на окошках сидели кошки,
а им на радость цвела герань;
там жили девки — не то чтоб крали,
но все в них было — и там, и тут, —
мы их хотели — с собою звали
(сначала откажут, потом придут)...
Там я в учительницу влюбился
и написал ей «Ай лав вас эм»...
Зачем я жил там? А так — родился.
Зачем уехал? А низачем.

* * *

...что-то или кто-то хочет, чтобы
я вел себя так, а не иначе.

К. С. Льюис

Приходили деревья из белого сада,
прилетали девицы из черного ада —
о чумазую льдину стены
ударялись, с улыбкой маркиза де Сада,
плети выюги и ветви весны.

То девицы хрипели, то яблони пели,
то в портвейновых паузах кресла скрипели
и гремели стаканы: дзынь-бряк...
И встречали мы ноченьки так, как хотели,
и прощались с рассветами так, как умели —
только так, а иначе никак.

И рыдали соседи — старухи и бабы,
старики и котята: «Пора бы, пора бы!»
И уже наступала пора
расставаний, ошибок, ушибов, ухабов —
для души, для крыла, для пера...

И, обречены за день, всплывали опушки,
и, зареваны за ночь, вспухали подушки,
и мелькали в луче перемен
то царевна Весна, то царевна Лягушка,
то ковры-самолеты иркутской психушки...
хлопья ваты и пепел измен...

Где по правде я жил, где по правде мне рады?
И припомнить бы надо, и помнить не надо,
и сказать бы о том, да в печать...
Как деревья, слетевшиеся из сада,
как девицы, окликнутые из ада,
не умею молчать...

Русский роман

Сергею Захаряну

Все уже было, а слово найдешь и — жарко,
все уже знаешь, а пишется, как во сне,
русский роман: снег, рукавички, шарфик,
черные лестницы, белые скверы, снег...
— Не позвонила... — Ты не ответил... — Как ты?
— Вся обревелась... — Ты как снежинка... — Ах!..
— Может быть, в гости?.. — Рюмочки, люди, карты...
— Мы заночуем? — Узкий диванчик, страх:
вдруг нас услышат? — Где же ты? — Сладко, больно,
влажная простынь. Жар... — Принеси попить!..
Русский роман: в доме подружки школьной,
стены сшибая, спящих перебудить;
с мужем подружки — в кухоньке, под варенье —
рюмкой об рюмку, пьяной башкой в рассвет...
Русский роман: шепот и осужденье,
ропот и слезы... — Ты уже выпил? — Нет.
Русский роман: стражи ночных общежитий...
— Мы заночуем... — Вот полотенце... — Вот
розовый венчик из разноцветных нитей
плюшевых ковриков и воробьиных нот.
Вот тебе венчик: крыша — на самой кромке
голубь с голубкой... — Не уходи, постой...
Русский роман: тьма, полутьма, потемки,
больше Крестовский, нежели Лев Толстой;
русский роман: аэропорт, реклама
аэропорта, буковки: «В добрый путь»,
Южин-Сумбатов, Жак Оффенбах, мелодрама...

— Я тебя встречу... — Глупости, позабудь...
Низкое небо, ветер, сигнальный прочерк...
Память — тетрадка: захочется — перечту...
Вот тебе венчик из разноцветных строчек
острых снежинок, круглых окошек «Ту»,
вот тебе венчик: связанный из тумана
узел сюжета, петелька, узелок
из твоего обмана — рычаг романа,
что при желании складывается в венок...

О деве и славе,
торивших твой путь —
«ослаби, остави...» —
забыть не забудь;

о молниях сабли,
о громах меча —
«остави, ослаби...» —
сумей промолчать;

у жизни унылой,
у ломаных ив —
«спаси и помилуй...» —
укради мотив;

чужое примери,
своим нареки...

Отверзи ми двери
за эти грехи...

Среди миров, в сиянии светил...

Инн. Анненский

...но женщина проходит по земле...

У. Шекспир

Когда проснусь от яркого огня
капризной музыки, не подвластной мраку,
люблю не женщину, спасавшую меня,
а женщину, спасавшую собаку...

Когда проснусь, чтобы найти во тьме
табак припрятанный, и путаюсь в пеленке,
люблю не женщину, что плачет обо мне,
а женщину, что плачет о ребенке...

Когда проснусь, окликнутый как брат
звездой дрогнувшей иль каплей дождевою,
люблю не женщину, которой я богат,
а ту, которая всю жизнь бедна со мною...

* * *

Лист опальный, лист летучий —
проездной билет
на печаль, на всякий случай,
может быть, на свет...

Лист летучий, лист опальный —
золотой ожог
по дороге в самопальный
звук — полустышок...

Звук из розовых прожилок —
полустрочка от
серафимовых ужимок
ангельских щедрот;

полустрочка — лед и пламень,
строй и лад, и сбой...
Что не вышепчешь губами,
вышепчешь судьбой,

чтоб смогла она сложиться
в просьбу, а не мысль:
«Научи меня молиться,
сам во мне молись».

* * *

Арнольду Харитонову

...и длинных свиданий густая и вязкая тина,
и встреч сквознячок, и заставы застолий — не тема
для старой гитары, скорее — для бедного тела,
которому — ночь на дворе! — а вина не хватило.

Возлюбим друг друга за рифмы, связавшие строки,
за жадные строфы, не знавшие ночи и страха,
за то, что для них начинаются новые сроки —
наточен топор и ни малой пушинки на плахе.

Возлюбим друг друга за реки, любимые нами,
за синее небо, любимое нами и ими,
за имя, к которому можно губами,
как будто к воде прикоснуться: «Во имя...»

В. С.

Я-то и прежде об этом не мог,
да и сегодня случайно:
вдруг я подумал, что родина — Бог,
в нас вырастающий тайно.

С ним и светло и, конечно, темно,
радостно и одиноко...
Родина... — может быть, это письмо,
может, и правда, от Бога...

Родина — это... А ты — про овсы
да про луга, да криницы...
Родина — это та капля росы,
в коей не грех утопиться.

Это, конечно, и ты, дуралей,
галстук за родину рвущий.
Это и я, дуралей, —
над твоей
музой кривой хохотнувший...

Слух чуткий — парус натягает...

Осип Мандельштам

Как с древа сорвался предатель ученик...

Александр Пушкин

Здравствуйте, я говорю вам, лесные, степные —
кто на звезду налетевшие, кто на ухаб,
влажные эль, кучерявые эр, и слепые,
в яму ведущие пз, и трехэтажные ха!

Здравствуйте, верные звуку и эхо рождавшие девы,
здравствуйте, верные речи и сытые песней мужи...
Падает плод и предатель срывается с древа —
только я губы разжал,
только я слово сложил...

Слово нашел я, и вот — парус настроив дыханья
по широте его глаз и высоте его крыл,
плыть предлагаю ему по пути вычитанья
вечно шумящих пустот из сочетанья светил...

* * *

Виталию Науменко

Знать бы мне, что я не знаю,
не скажу наверняка,
что на дудочке играю
безъязыкость языка.

Ведать бы, что мне неведом
разбежавшийся во мне
белый мальчик с красным бредом
на атласном скакуне...

Даже если понарошку,
даже если неспроста —
знать не стоит, чья ладошка
размыкает нам уста.

Повторяю: знать не стоит
ничего —

какой нам прок
знать, в какую из историй
нас заманивает рок?

Ничегошеньки не надо,
коль разомкнутую грудь
легкий пепел предбаллады
обожжет когда-нибудь.

* * *

...и все, что видимо, то завтра будет тем,
с чем я уйду, востребованный адом:
куст возникает, но не прежде, чем
я трогаю его случайным взглядом...

Тяжелая лоза заговорит
не прежде, чем, окликнутая мною,
ко мне приблизится,
и облако парит —
не ветром движимое, а моей мечтою.

Все действительно, покуда сущен я.
Все без лица, покуда безразлично
мое лицо: вся книга Бытия
без моего глагола безъязычна...

Змей искушаемый, четырехстопный червь,
эдемский пасынок, востребованный адом,
я говорю.

И вот — не прежде, чем
я к Моисею прикасаюсь взглядом,
пылает куст.

Автоэпитафия

Ничего не остается —
только камни да песок,
да соседство с тем колодезем,
что к виску наискосок.

Никуда уже не деться —
успокойся, помолчи...
Пусть дорога по-над сердцем
рассыпающимся мчит, —

хорошо бы к ней пробиться
чем-то вроде родника —
пусть и птица, и девица
припадут к нему напиться...
Выпей мой зрачок, девица,
чрез соломку червячка!..

Русак и иудею,
как русак и иудей,
я взываю, как умею:
влажной смертушкой моею
свою грядочку залей...

* * *

Все восстановлено из праха...

Михаил Кузмин

Все, что я слышу или же недослышу,
было Бетховеном... Мнится, давным-давно
тяжеловыйный желудь дырявит крышу,
тяжелорукая глина дробит зерно.

Эти пробежки — к свету или обратно,
эти рожденья: звука, тоски, ростка —
вышли из смерти сына, из кельи брата,
из воркованья кладбищенского молотка;

эти раздоры бытопорядка с миро-
сопротивленьем столь тяжелы сейчас
приговоренным к кисточкам и клавирам,
так напрягают крылышки наших глаз,
что разрыдаешься: ликам мешают лица,
веку — секунда, миг заслоняет год,
и для того, чтоб высмотреть ангелицу,
взмахом ресницы смахиваешь народ...

* * *

А пока не погасли гирлянды,
поиграйте со мной в Нидерланды!

Вот их кружки для нашей пирушки,
вот их трубки, а вот их подружки.

Вот их дети, а там их мамы,
вот их Брейгели, Старший и Младший...

Там сыры их, а там их колбасы,
вот их флейты, а вот контрабасы.

Там их гезы, а это их грезы —
то ли ласточки, то ли стрекозы...

Поиграйте со мной в Нидерланды —
в их товары из их контрабанды,

в их кружавчики или кружала,
в их провинцию, их сверхдержаву...

Как умели они торопиться —
и надуматься, и понапиться,

набродяжить, уgomониться,
потеряться, порастовориться,

наиграться, навеки скрыться... —
где их земли и где границы?

Посидите со мной, как голландцы,
русофилы мои, голодранцы...

* * *

Геннадию Сафронову

В той области — за тридевять морей —
нас головокруженьем угощали
малиновый лопух, седой пырей
и — в красных венах — изумрудный щавель.

В той области, куда впускали за
царапины, болячки, синячища,
нам пауки таращили глаза
и стрекоза таращила глазища...

Там разрешалось думать ни о чем,
и мы могли заплакать, как придется —
в жилетку тли, в мушиное плечо,
в грудь муравья и куртку дровоточа.

Там можно было курево сложить
из букв «Правды» и опилок «Примы»,
там наши вздохи умудрялись жить,
не выбегая из колечек дыма...

Там миг равнялся году, веку — час,
покуда пучеглазая наука,
надев очки, не высмотрела нас,
чтобы швырнуть под линзы Левенгука...

* * *

Любить июль, которого к осе
приговорили; подставлять колени
кузнечикам, испачканным в росе,
как я — в грехе и как дитя — в варенье.

Любить июль — как первый день любя
всех любящих — едино: старых, малых...
Я думаю, Марина, что тебя
учили музыке Иван да Марья.

Иван кричал: — Ты гасишь ноту ля! —
грозил ремнем. А Марьюшка вздыхала,
и с этим вздохом круглая земля
под полукружье радуги вставала...

Поди сегодня — разберись, когда
та нота вспыхнула и разбросала искры
на нашу жизнь, в которой никогда,
помимо музыки, ни толку нет, ни смысла, —

которая проходит босиком,
потусторонним взглядом отмечая
синицу с камышовым волоском
да иволгу с наперстком иван-чая...

* * *

Им в радость — ласточка, им пеночка — в награду...
Зачем смущать ямбической строкой
стада деревьев, что сырой оградой
стреножены, как наша жизнь — тоской?
Зачем нам эти весточки из ада
прапрадеда — прохлады и покоя?

Гарь муравья, свеча болиголовы
и, в облачные вдеты стремени,
тяжелая, как челка гробового
ваятеля, багровая луна...
Зачем нам эти письма из былого
прабабок наших — грусть и тишина?

Звон бубенцов, картавый гул кибитки,
коклюшный кашель капель дождевых...
«Не рви корсет!» — не отворяй калитки
в собрание мертвых и полуживых:
зачем нам горько-сладкие открытки
с усталыми деревьями на них!

* * *

Петь глупости, влюбляться в чепуху,
все малое по главной части числа:
ум дремлющий склоняется к стиху —
к мелодии, музыке, а не к мысли.

Приравнена булавка к булаве,
шкатулка обнаруживает в склепе
свою родню,
 блуждающий в траве
зрак дремлющий от спички стебля слепнет...

Зато душе — чем для тебя темней,
чем для тебя тесней на этом свете,
сподручнее — сквозь тернии теней
и света — перешагивать в бессмертье...

Осень

Григорию Кружкову

1

Вот и пора — поехали, помчали
от печки к печке, через жар вина
на стужу водки, на остуду чая,
на тишину, которая без дна...

Пора, пора — из пушкинского года,
из нажитого строчками добра,
из суеты, из гвалта, из народа
и из тысячелетия пора...

2

Печальные, как рембрандтовы девы,
шов горизонта сузивши на десть,
нас дали выкурлыкивают: «Где вы?» —
и мы их успокаиваем: «Здесь!»

Мы там, где должно — при усталых женах,
при омуте, который в их глазах
по осени темней, при обожженных
косноязыьем нашим образах.

Мы там, где должно, — при чесночной грядке,
слепых очках и зрячем посошке,
почти сыскавших в нашем беспорядке
тропинку к лесу и мосток к реке.

Мы там, где бес морочит нас: «Плесни-ка», —
где ангел утешает: «Бог простит»,
и крашенная марганцем брусника,
как жизнь, горчит и, как любовь, сладит...

3

Когда мы сортируем наши травы
и заточаем в кадки огурцы,
как птицы, из оливковой дубравы
нас выкликают наши праотцы.

И нас знобит, и взгляд наш столь рассеян,
и зыбок слух, и наша мысль чиста,
когда косноязычие Моисея
палит гортань и холодит уста.

4

Снег — за углом, а бабочки и птицы —
за сто земель, за тридевять морей...
То наркоман, то бомж к нам постучится,
то беженка застынет у дверей, —

и так их много, так их зовы часты,
настолько мы навстречу им бежим,
что кажется: какой-то главной частью
мы не себе, а им принадлежим...

5

Пора, мой друг — вдоль буковок затертых,
терзая ямб, не замечая власть,
держась живых, не оставляя мертвых —
беспамятства и памяти держась.

Пора туда, где и без нас, и с нами
продлится жизнь, где, память отключив,
бомж — со слезой, кадушка — с огурцами,
ребенок плачет, а жена ворчит,

где токарь точит, а кухарка парит,
мысль ни к чему, а глупости важны,
где память зажигает свой фонарик,
горит свеча и жар от тишины...

Круг — это бесконечная часть «Песни» —

А между прочим, началась весна.

И хрупок воздух, как обертка сна,
а там, где жизнь о время укололась,
на песенке сошлись — мой хриплый голос
и твой, простуженный, и тишина...

А день подрос —
явились облака.

Еще, как новобранцы, неуклюжи,
они себя рассматривают в лужах,
а те блистают в рамках ледка;

а ветер ищет ноты — НОТНЫЙ КЛЮЧ
по ручейкам гуляет — В ТОМ И ЭТОМ...

А у провинциального поэта
 четырнадцатая за апрель любовь.

И потому к планетам и предметам
он громко обращается:
— Любовь
Ивановна!

А Люба Иванова

купила шляпу — при своей обнове
она плавает, как шляпа по воде...

На веточках, на форточках —
везде,
где невозможно спрятаться от грусти,
расплакались сосульки;
каждый кустик
наполнен влагой...

Всякая душа
летит туда,
где сыновья народов
являют миру мужества пример —
там Федоров живет, грустит Жюль Верн,
пенсне теряет мудрый Циолковский...

Мне грустно оттого,
 что, будучи подростком,
и я там был,—
 я взрослый потому,
что там не интересен никому...

Однако я увлекся небесами,
в то время как живу под небесами...

А на земле
 меж тем, пока я пел,
свершился круг цветенья — увядают
мои сады, и птицы покидают

* * *

Пламень Господень, все, что вчера превратил ты
в пепел легчайший, то, помнится, пеплом и было:
горечью пахла с вином задружившая юность,
запахом гари — с печалью дружившая зрелость.

Ветер Господень, не тронь мою тихую радость —
пыльное счастье: пятнадцать на двадцать дворовых
малых квадратов, — в кружавчиках бледных крылечек,
в лепете липы и трепете ласточек юрких.

Милость Господня, согрей поистертые души
влажных старух, чьи глаза в бородавках и мухах,
плечики чьи — в штопанных шалах, а ножки — в бахилах
(войлок дырявый с заплатами из кожемита) —

что им осталось, помимо забора, в чьи щели
небо сочится, трава наливается, пчелы —
коль захотят — принесут наработанный за день
мед золотистый (как сладко сучкам и занозам!),

что еще нужно, помимо листвы, осенившей
пыльную радость, глупое счастье
— пятнадцать на двадцать —
жизни, которую можно в котомке
перенести хоть в могилу — Харон не заметит...

* * *

Боялся умереть не в родине моей!

Константин Батюшков

А когда я подумал, что мы уедем
и никто не вспомнит про нас, — в тот час
позвонила мама, пришли-прибежали соседи,
прилетела сизая ласточка мучить нас,
набежали тени, пришли строевым солдаты,
облепила сладкая — как пастила — детвора,
принесли поэты свои дукаты — свои закаты,
а свои проездные — неимущие кондуктора,
из пейзажа вышел автор его (хороший художник),
из роскошного Гофмана выпал его орех,
и из трещинки справа просыпал серебряный дождик,
а из трещинки слева наплакал серебряный смех...
За орехом ели пошли да мыши,
кто собачку чмокнул, а кто причмокнул стакан...
И когда я подумал, что я все равно здесь лишний,
из любимой книжки явился нам великан.
И сказал великан... Впрочем, все, что сказал он,
ни в словах рассказать, ни пером моим вам описать...
Все, кто слышал его, залились большими слезами,
все, кто видел его, стали рубахи, как ставенки, рвать, —
все Абрамы, Ицики, Зямы, Фимы,
тетя Бетя, бабушки Зельда и Руфь
повели себя так, как последние славянофилы —
позабывши про нас, позапели про бедную Русь...

Человек рождается, вырастает в мужа,
не тонет в воде, не сгорает во зле,
потом узнает, что нисколько не нужен
ни себе, ни дочери, ни земле;

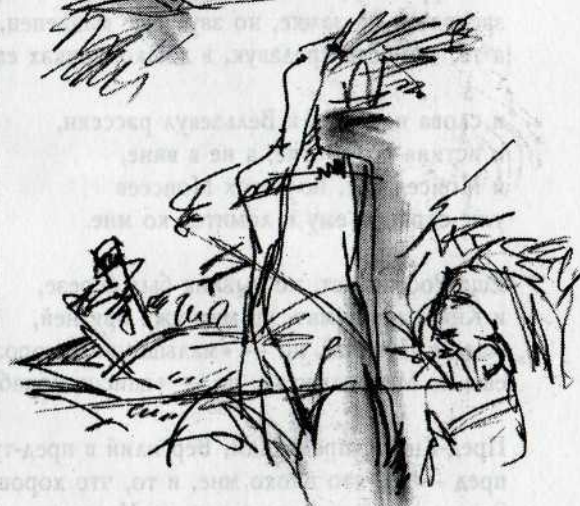
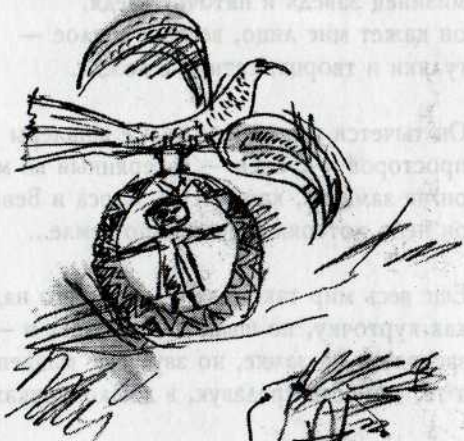
потом человек научается плакать,
потом, не вспомнив, зачем пришел
на эту землю, становится прахом —
и ему хорошо, и земле хорошо.

Если по правде, памяти больше нечем
перебиваться, воспоминанья — вздор,
книги темны, расставанья светлее встречи,
все расстоянья складываются в узор,
в центре которого ласточка, небо, поле,
попеременно вскрикивающее то ух, то ах,
мальчик в панамке, бабочка в ореоле,
бабушка в нимбе, дедушка в сапогах...



Послушанье

новый
век



Послушание
гулу



Двойник

В нетронутые тьмы просторов мезозоя
мизинец заведя и пяточку введя,
он кажет мне лицо, веселое и злое —
гуляки и творца, сатира и вождя.

Он тычется щекой в тяжелые шпалеры
просторов и времен — затерянный во мгле,
он не заметил, как — сын Марса и Венеры —
он небо потерял и бродит по земле...

Еще весь мир таков, что — коль его наденешь,
как курточку, по швам он поползет и — щелк! —
застрянет на замке, но звук еще младенец,
а те, что есть предзвук, в дошкольниках еще;

и слова нет еще, и Вельзевул рассеян,
и истина его в огне, а не в вине,
и Моисея нет, но посох Моисеев
уже скрипит ему и ломится ко мне.

Еще России нет, но выклик был березе,
и Книга не шумит, но мир уже при ней,
еще не Пушкин, но — «малыш уж отморозил»,
еще не Мандельштам, но — «список кораблей»...

Пред-Книга, пред-Адам, Вергилий в пред-тумане,
пред — то, что плохо мне, и то, что хорошо...
Зачем он мне сейчас, когда на Иоанне
я память потерял, а смысла не нашел?

Зачем он скинул шлем в космической каюте?
Зачем он сдвинул люк в подводном корабле?
Зачем он мне сейчас — раскрывшему компьютер
под тяжестью звезды на маленькой земле?

* * *

«...дудочка моя, дружок,
медсестричка, проводница,
просверлившая лужок
локотками ангелица, —

дудочка моя, мой бес,
вытряхнувший из копилки
жизнь мою, оставив без
все потомство без копейки, —

дудочка моя, щенок,
двортерьерка, попрошайка...
Моисеев посошок,
Ааронова болталка, —

дурочка моя, ударь
тросточкой, чтоб нам открыли
женщины: Эсфирь, Фамарь,
все Ревекки, все Рахили...

Дудочка, когда меня...
то есть, если я уеду,
одинокество кляня,
не заглядывай к соседу, —

где ему тебя понять —
разозлится не на шутку
и, глядишь, пойдешь плясать
под его кривую дудку, —

дурочка моя, не смей —
я и там, поспав немножко,
на окошке из корней
продышу себе окошко —

посмотрю да рассмотрю,
он какой да ты какая...» —
дудочке я говорю,
дудочку перебивая...

* * *

Из наставлений Варваре

Надо долго-долго жить:
сто ботинок износить,

чтоб сквозь пряжки-ремешки
пробивались корешки.

Надо долго-долго жить:
два пальтишка износить,

чтоб сквозь сеточку сукна
наша жизнь была видна.

Надо долго-долго жить:
сто рубашек износить,

сто рубашек, сто рубах,
а под ними — сотню птах,

чтобы каждая из птах
начала утро с «Ах!»

Утро

От песенки отталкиваясь, от
ее припева, —
над городом очнувшимся плывет
ночная дева:

плечо крылатится
и мелодрамой
из тьмы халатика
то мрак, то мрамор....

Снам не обученный, в сатиновых трусах,
в штанах на вате,
в девицей прибранных крахмальных небесах
спешит солдатик.

Как хорошо им: встретятся, найдут
друг дружки руки
и медленно друг в дружку потекут,
как реки — в реки

и горы — в горы...

Жаль, что из-за нас,
зачем-то к ним летящим торопливо,
ночная дева вскрикнет «не сейчас!»
и мятым облаком прикроется стыдливо...

* * *

Как только — ножку приспустив
и ей, опущенной, играя,
из ангельских пределов рая
нам сбросят ангельский мотив,

так сразу кисточки начнут
в брегах холстов своих резвиться,
и в грустный клуб «кому за тридцать»
слепую скрипочку внесут —

тогда и ангелу привет
пошлем мы в качестве куплета,
и в ожидании ответа
отметим восемьдесят лет...

* * *

Чтобы ты чуть-чуть отвык
песнь вытягивать из раны,
птица или человек
поведут тебя на рынок,

и пока твоя душа
держится дыры кармана,
разбежится из ковша
разноцветная поляна,

и пойдет поляна та,
прыгая через кошелки,
разносить свои цветы
по полянам полушалков...

а потом она — река
и глядит в нее березка,
и русалочья рука,
на которой вдовья слезка,

а потом она — наган,
от обиды загулявший,
а потом она — стакан
и мужик, в него упавший,

а еще она — жена
мужика, что из стакана
заявляет: «не пойду»,
а она: «попробуй только»!..

Но когда сверкнет лубок
взором из-под полушубка —
вспыхивает голубок,
загорается голубка...

* * *

...взгляд страстотерпицы на жизни страстотерпцев —
вот что держава нам и что державе мы:
тепло и ей, и нам, когда заика-сердце
«люблю» не вымолвит, не обронив «увы», —
увы, ни ей, ни нам иначе не согреться
среди слепых полей и дальнозорких зим...
И вот уж жарко ей, и непонятно сердцу,
кто на его «люблю» отвечает «любим»...

* * *

— Корешки и корни, которыми впрок начинают
свои норы:
из наших — лисица, барсук, из чужих — гамадрил, —
вероятней всего, истлевая, светить начинают
к Рождеству, ибо их на Покров осеняют
Гавриил, Михаил, Рафаил;

все соленья-варенья, которыми впрок позабили
свои норы: из наших — бурят, а из дальних — йоруб, —
превращаются в сказки о леших, слетаются в были
о чудовищах — только бы рты им раскрыли
счетовод, звездочет, лесоруб;

и сплетение сплетен, и замыслов злобных плетенье,
то есть все, что нас мучит и, может быть, сводит на нет,
нам внушает смущенье, подталкивая на свеченье
Рождества, и являются нам во спасенье
Святый Дух, Святый Глас, Святый Свет —

объявляется елка, и враз умножаются слухи
о светящихся средах, поющих субботах, и грусть,
вся в клубничном варенье, готова нас взять на поруки
в Рождество, и йорубу являются духи,
а буряту — бурханчик, а нам — Иисус...

* * *

Пусть между нами случится ворона,
облака топот, тополя крона,
перемоловшая злак
мертвого солнца, да предпохоронный
звук или, может быть, знак.

Пусть — коль не в нас, то хотя бы над нами
пламя Плеяд и Архангела пламя —
нашей разлуки окрест
сыплют гвоздями, гремят молотками —
пусть разорвет нас, ощерясь корнями,
ими сработанный крест.

Пусть нам, и правда, ворона случится...
Кто там устами успел приложиться
к облаку, кроне, трубе?..
Троица ангелов в двери стучится...
Может, успеем еще сговориться:
если положена мне ангелица,
ангел положен тебе...

* * *

...и не устал, и устал ласточек кликать, отчизне —
кукиш в кармане держа, розу под сердцем держать;

и далека, и кратка эта дорога, с которой
надо сойти бы вчера, а обнимаю, как мать;

и тяжело, и легко в легкие — воздух российский,
в брюхо — вселенскую мусть долгие годы вбивать...

Тем и утешен, что пью, черные жабы державы
к жадным губам поднося, небо, которого нет...

Ворон — крылом или ветер

— дланью, иль кисточкой — дождик,

или цепочкой — снежок лупят меня по мордам, —

вот уж и ты норовишь ткнуть меня в правила жизни,
будто не я для тебя обе щеки приберег...

* * *

...и хвастовство прости мое, и страх, —
что, в сущности, всегда одно и то же...

И грешник, как говаривал Сирах,
грехи к грехам — тоску к тоске — приложит...

А коли я и вздумаю избежать
потемок страха — выйдут из Сираха
обманщик и обманщица, сиречь —
пригоршня праха с пригоршнею праха...

* * *

Говори, покуда во тьме угрюмой
я стою, держась за косяк двери,
говори, забалтывайся, не думай,
ни о чем не думая, говори.

Я еще не придумал — не знаю толком,
что я стану делать, столкнув порог,
с этим звуком, который сейчас стал волком
и влез в спичечный огонек...

Говори — выпестывай наше горе,
поучай его — повели ему
нашуметь, как птица, смолчать, как море,
да скроить суму, да сложить тюрьму...

Я еще не знаю, что буду делать
на дороге, что лупит меня под дых,
с этим словом, которое, как без денег —
государство наше — без губ твоих...

Я еще — ты слышишь — не хлопнул дверью,
и еще — ты знаешь — смогу сберечь
по дороге к птице, навстречу зверю —
пусть не эти губы, но эту речь...

* * *

...и мне подумалось в тот раз,
что наша встреча и разлука,
как все, что в нас и что вне нас,
живет пределами предзвука,

и если губы сводит грусть,
а сердце — надпись на конверте,
все это — как войти по груди
в предзвук, в котором атом смерти,

поскольку все — и просверк тьмы,
и тишь, и даль глухонемая —
все это то, чем станем мы —
или однажды были мы,
реке державинской внимая...

* * *

Когда строка, уставшая от странствий,
сравнилась с одиночеством, — тогда
я устыдился: время и пространство
меня не занимали никогда.

Была не мысль, а послушанье гулу,
который, как ни лгал, не обманул,
и горький миг, в котором ты вздохнула,
во всю печаль подковкой разогнул...

Что мне пространство, что его мне эхо
во времени, и что тебе с того,
что я их — и не думал, а объехал
с подковкою дыханья твоего?..

Вот нам и осень

Прогулки с Варварой

Вот нам и осень. Ты спросишь, зачем?
А ни зачем, потому что затем
будет зима нам, и станет — за кем
всем поспешать, чтоб родиться затем:

небо зажмурится, топнет мороз,
вспыхнет звезда и родится Христос...

Вот нам и песенка — вылепил луг,
вот нам и лесенка — выстроил еж:
хочешь — не хочешь, на небо взлетишь.
хочешь — не хочешь, под землю сойдешь...

Вот и морозец — рассказец о том,
как мы проходим и как мы пройдем...

* * *

Эти капризы рыхлой резьбы по кругу
наших прогулок — родственники по вскрику
(да и по всхлипу) книге Исход, в которой
счастья коленце из одного колена
перетекает в другое — стопа музыки
там и вступает, где ваша боль ступала,
бедный Сирах, громокипящий Енох,
там и ступает, где от сибирской Евы
лишь черенок яблоневого — не боле
горького семечка, ставшего Божьей волей
сладкой репризой в небо летящей рамы —
вспышка гераньки в тюлевом нимбе мамы...

* * *

Сумерки... Она — по локоть в фарше,
он — с «бычком» (в дыму, но без огня) —
через год она умрет от фальши,
он — от скуки, склоки и вранья,
в среду и четверг, согласно справке,
впустят их в кладбищенскую мглу
дети их: девицы сядут в лавки,
парни — в тюрьмы, внуки — на иглу,
жизнь пойдет раскручиваться дальше,
то есть безустанно умирать
в среду — от тоски, в четверг — от фальши...
в выходные сдуру воскресать...

* * *

Торопясь на рюмочку к бабе Маше,
мы в сугробах тонем и с гор летим,
и — кого увидим — руками машем,
и целуем в щеки, кого хотим.

Мы свернули к Пестеровскому базару,
чтоб Каспару выискать «Беломор»,
мы зашли на рюмочку к Бальтазару,
и разлил по рюмочкам Мельхиор.

И решил Каспар, что он выпьет с локтя,
и привстал, и встал над столом в наклон,
потому что пили мы за того, кто
бабой Машей в юности был рожден...

Я зачем-то заплакал и вышел в сени
покурить, а там меня ждут-пождут
Рождество, Распятие, Воскресенье
и, меня не видя, они ревут...

* * *

Топнул Борей сапогом,
вспыхнул Архангел десницей,
дворник — как жезлом — метлой
бомжа и мышь напугал;

листья сравнились с землей,
мышь под землю нырнула...
Коли по небу пойдешь —
ни журавлей, ни синиц...

Сузился радужный свет
мысли-заики, и сердце
враз передумало петь
и согласилось молчать.

Ангел, молчи, на замке
губы держа, ангелица,
руки и ноги сожми
при приближеньи моем.

Зрей до грядущей весны,
тополя семя, молитвой,
семя мое, обернись,
зрея под взором Отца...

Три портрета

Вчера на куперовской тропе —
Армстронг (но и Караян) —
он дунул в трубу, и ее канаве
обуглилось по краям —

он Ветер, и вольно его тоске
шариться по реке...

Сегодня он болен — отяжелел
от лозунгов и афиш,
он вскинул култышки сырых дерев
к распятиям мокрых крыш —

он Город, и там, где его дома,
пространство сходит с ума...

А этот, выпив с утра, смежил
глазища и, полузряч,
изъяв свинчатку из наших жил,
пустился с ней считать этажи,
взамен фонариков предложив
гремучий ребячий плач, —

он Призрак, и там, где он молвит «нет»,
мерцает нам брод и свет...

* * *

Приходила бабушка — та, что русская:
попила из дедушкиного ковша,
а потом сидела, подсолнух лузгала...
И подсолнух хорош, и она хороша....

Приходила бабушка — что еврейская,
попросила: «Дедушке напиши,
что глаза повыцвели, душа потрескалась»...
Но душа хороша, и глаза хороши...

Мы вздохнули враз, вспоминая дедушек,
заревели, подумав, что для утех —
и второй, и первый — гостят у девушек,
но один — у этих, другой — у тех.

Так ревели споро мы — я да бабушки,
что земля набухла, и через час
отшумела пшеница, взошли оладушки,
появились, брызгаясь и лучась,

ребятишки: у кошки, потом — у лошади,
а потом — у собачки, и я нашел,
что легко быть бабушкой, лучше — брошенной:
и тебе, и дедушке хорошо.

И в этом быть, и в той — и тем, который плачет,
и той, которой плач увянуть не дает...
Я бывший человек, я всех люблю иначе —
не ночи напролет, а годы напролет...

Быть шторкой при окне, приступочкой при сенцах,
печалью, что сгорит, обидой, что смолчит...
Я прашур и предпрах — мне ведомо, что сердце
не боле паучка
и ножками сучит

меж книжкой Дюма и штангой футбольной,
да тем кукареку, что выдохлось в ку-ку...
Я бывший человек — а если мне и больно,
тем проще паучку, тем слаще паучку...

Еще только два стихотворения

1

...ну и что с того, что башка твоя в моих поцелуях,
да и плечи — тоже, и те же руки, и та же попа,
ну и что с того, что спрашиваешь, почему я
о себе подумал, притом, что тебя прохлопал,

ну и что с того, что ты семя мое, а плачешь,
и моя надежда, а маешься без надежды
на мою поддержку, и ломку никак не спрячешь,
и она, как ветер, сотрясает твои одежды,

ну и что с того, что ты вышел из дома, горю
подставляя щеки, на слово мое притопнув...
если встретишь Йорика, вспомни: отец твой — Йорик,
прикоснешься к тополи, думай: отец твой — тополь...

ну и что с того, что знобит нас, шатает, клонит,
что — летучий прах — мы то солнце, то счастье застим,
и притом, что не ждут нас, а, дверь приоткрывши, гонят,
мы с тобою пороги кровавим: здрасте!..

Вот с тобой мы какие: опять огорчаем маму
да, на радость соседям, таскаем себя, как гири,
от болотца — к морю, да от часовенки — к храму
да от горя к горю, от горя к горю, от горя к горю...

Могли бы и не жить.

Ты представляешь:

я — выкидыш послевоенной ночи,

ты — недоносок брежневского сплина,

я к облаку лечу,

подтолкнут воплем

«Да здравствует Иосиф Виссарьоныч!»,

ты к облаку спешишь, подтолкнут всхлипом

лица социализма развитого,

и вот сидит на краешке союза

из социалистических республик

Евгений (но уже не Боратынский,

а тот уже, который Евтушенко) —

сидит и шумным перышком сверкает,

и складывает строки «Недоноска»,

тебя расслышав

и меня приметив...

Александр Колесову

Я человек дороги —

жестких скамеек,

алюминиевых кружек,

цыганских пророчеств...

Подмигивание локомотива

я принимаю за соринку в зенице Господа,

тишину полустанков —

за косноязычие бесов...

Если хотите,

отберите у меня шляпу,

сумку, полную рукописей,

галстук с разводами,

брюки в клеточку —

стану родственником локомотивной трахомы,

вредным соседом тишины полустанков;

лягу на дно зацелованной кружки —

ржавым портвейном,

прозрачным спиртом, —

перед тем, как напиться,

вы обобьете зубы

о подпрыгивающий алюминий...

* * *

...и если вышло так, что выпала дорога,
а между тем из рук не выпало перо —
куда мы денемся от жирных грез Ван Гога,
фонариков Сера и пятен Писсарро?
И впрямь — куда ни глянь — где пляшут или пашут,
где от дождя бегут или бегут под дождь —
Винсент, Камиль и Жорж нам кисточками машут,
куда ни поглядишь — Винсет, Камиль и Жорж.
И мы вострим глаза и наостряем уши:
о чем шепнул Винсент, что Жорж не досказал,
что молвил нам Камиль? —
и бродим, им послушны... —
не так ли Мельхиор, Каспар и Бальтазар,
разделавшись с вином и не доевши рыбы,
взглянули в небеса и, мудростью очей
из миллиона звезд единственную выбрав,
послушали ее и привязались к ней?..

Прогулки

гора по щеке
и лоза по руке
и ратуша в лоб
и это Гренобль

и Лазарем светлым их гроба
восходит крестьянин Ван Гога...

бойничка в висок
и под локоток
фонтан-тамбурин
и это Турин

и ласточкой из писсуара
праправнучка ню Ренуара...

А в городе Ди —
куда ни пойдя,
лоза в бигуди
и слеза при груди,

и по-арамейски «Осанна!» —
толпа из палитры Сезанна...

* * *

У Андрея — куда ни пойдет он — Пушкин,
у Ильи — куда ни посмотрит — Блок,
у тебя Шопен не сходит с вертушки —
с позапрошлого года и царь, и Бог...
Все при ком-то — молятся на кого-то,
все кого-то слушаются, а я,
как школяр при правилах — при заботах,
к бытию не дотягиваюсь из жития.
Но при этом мне холодно или жарко,
высоко, просторно, а иногда
мне не спится: Андрюшу, Илюшу жалко, —
и тогда я еду в их города,
нахожу дома их, и потому что
раздается в комнатах их звонок,
мой Андрюша думает: это Пушкин,
а Илюша думает: это Блок...

* * *

...я устал, я путаю имена их:
Аполлон Случевский? Оскар Минаев?

Велимир Крученых? Антон Случевский?
Ариадна Мориц? — и если честно,

кто воскликнул «Чу» и слезы не вытер —
Афанасий Фруг иль Семен Никитин —

я уже не вспомню... Кто выбил стенку
и когда — до водки иль до абсента?

Кто позвал с утра, кто под вечер кликнул,
кто мне пробкой хлопнул, калиткой скрипнул,

перевел часы да помял корону,
позвонил жене, а потом — Харону?

Я уже не вспомню, кто преж Катулла
подпилил мой разум, как ножку стула,

кто допреж Гомера и Марциалла
говорил, что «Инбер здесь не стояло»?..

Я, конечно, мог бы припомнить имя
тех, кто сердце мне выбил, кто душу вынул,

но зачем, коль сердце мое — игрушка,
а душа — бродяжка и побирушка?..

Вторая тетрадь из Михайловского

*Но мертвец завизжал и проворно
Из могилы в лес бегом пустился...*

А. С. Пушкин

То по той аллее, то по этой
бродят члены творческих союзов:
кто — с усами, кто — с заячьей губою,
кто при тросточке, но все со стихами.

Член союза театральных деяний
на дубовой ветке мяучит,
член союза писателей России
ударяет, как в лиру, в можжевельник.

А один из них вспоминает:
— Малым дитятком я Пушкина видел, —
и рассказывает мне, как однажды
привезен был в монастырь Святогорский.

Он приехал на могилу поэта
на вельможной «Волге» при папе-вельможе,
под приглядом комитетчиков верных,
под охраною псковских пинкертонов.

О ту пору озаботилась держава
о порядке, которому должно
подчиняться — как песни поющим,
так и песни свои уже отпевшим.

— Малым дитятком я Пушкина видел, —
говорит мне из ныне поющих
и рассказывает: ветер, могила,
люди партийный и люди беспартийный, —
беспартийные могилу курочат,
прах поэта из нее извлекают,
а партийные их наставляют:
аккуратнее с нашей святыней...

— Малым дитятком я Пушкина видел, —
потрясает писательской ксивой
о стране моей несчастной поющий,
повстречавшийся с поэтовым прахом...

То на той аллее, то на этой
разверзается земля под ногами,
слева, справа — сплошь останки поэта,
все — следы его веселых прогулок, —
я стою над ними, шатаюсь,
и судьбою, и стихом неуклюжий,
я на них своим взглядом наступаю,
как на воды наступал мой Учитель...

* * *

...перераненный, перебитый,
разом Авель и Агасфер,
бледный выкормыш общепита,
бедный выкидыш СССР —

он выходит из ресторана,
полон горького серебра,
набежавшего в три стакана
из буфетчицына ребра...

Я с ним рядом, и ты с ним рядом...
Пусть он маленький — черт возьми,
кисло-сладким, но цепким взглядом
поддержи его — обними!..

Забинтованный госпитальной
не отапливаемой зимой,
он склонился над готовальней,
как мой батюшка — надо мной.

Эту, в бархатных буераках,
усыпальницу чертежей,
он оплакивает при мраке
интернетовых миражей...

Я с ним рядом и ты не дале —
перекрестимся, салютнем,
вместо ельциновской медали
зажигалками громыхнем,

чтоб увиделось, как он, разом
матеря и благодаря,
ржавым зубом и третьим глазом
тычет в физику декабря...

Темнота

Из наставлений Варваре

Люди похожи на тех, к кому
— во сне или в жизни — они приходят:
пекарь — на булку, щипач — на тюрьму,
огурцевода — на огородик,
кошка — на кошку, стихи — на стихи,
бабка — на дедку, а море — на сушу...
Все мы походим на те пустяки,
которым где рот отворяем, где — душу;

в принципе, если подумать, все
все получают не с бухты-барухты:
коли как следует о росе
поразмышлять, то уже не трактор
или трава, а скорее ты
станешь на солнышке переливаться...

Впрочем, здесь более темноты,
нежели света, а коль разбираться
в свете, то сущность его нечиста:
как он, бессовестный, отступает,
когда сочинившая нас темнота
на нас права свои предъявляет!..

Покуда нас от жизни берегут:
где — мамино плечо, где — бабушкины руки,
мы слушаем: о чем они поют —
щеглы и ласточки, лишайники и реки?

О чем вода? и что она в брегах?
Что ласточка? и что ей делать в сенцах?
И чьим веленьем заблудился взмах
— в одно мгновение — крылышек и сердца?

Потом мы пьем невкусное вино
с Бердичевом, а вкусное — с Парижем,
и тоном в книжках, коим все равно
— как ласточкам, — насколько мы их слышим.

Потом, когда и пить нам надоест,
и слушать невтерпеж, — наш горький опыт
настаивает: погасите всплеск
и выведите из народа ропот...

Стансы

После грома развилка горчит грибами,
после гама — воздух — твоими губами
переслащен, но солон... После семи
хорошо прикладываться стихами
или к долу, который забит грибами,
или к дому, который набит детьми.

После блуда не стоит тревожить Бога
ни молитвой, ни дойной или эклогой —
придержи для Ада свое добро...
Жизнь танцует от печки, а смерть — от порога,
но у той и этой саднит дорога
под лопаткой, притом, что и лес — в ребро.

После долгой жизни: что брус, что никель —
все равно; плевать: за какой стеной,
земляной иль глиняной — кто вас кликал,
над какою люлькой взошла грустника,
из какой — ей встречь — поднялась болика,
и какая прет из тебя брусника,
затыкая губы твои тишиной...

* * *

...и трубы медные, и всполохи огня... —
лелейских вод случайный победитель,
он женщину похитил у меня,
а вместе с ней и дочь мою похитил...

Он износил до ямочки судьбу,
и, разваливши жизнь свою, как обувь,
в домашних тапочках залег в своем гробу
и с нашей дочерью поставил нас у гроба,

и кажется, что, отвернув лицо
от облаков и тьмою зарастая,
понять пытается: который из отцов
обидел девочку и зареветь заставил?

* * *

Страдал, рыдал, терпел, исчез...

Константин Батюшков

Тот грустный человек, с которым я знаком
был лет пятнадцать, щелкнул языком
и всхлипнул перед тем, как удалиться...

С тех самых пор я думаю о том,
что, в сущности, он был черновиком
не человека —

рыбы?
зверя?
птицы?..

* * *

Занимаясь веселым делом —
расставаясь с тяжелым телом
(будто грифель карандаша
покрошился), на белом — серым
прорисовывается душа.

Воспаряет она, играя,
но при этом ей ни до Рая,
ни до Ада, ни до свечи:
не желая, но повторяя
тело брошенное, по краю
пуповинки кровоточит...

Через сутки ее заполняют
шум из света, гроза из молний
да из грома, а через год,
повстречавши ее — кто вспомнит,
по кому она душу рвет?

* * *

*...цель слабого света между двумя
идеально черными вечностями...*

Владимир Набоков

В этом мире, в котором, как в рукавике,
и тепло и колко, — наверняка
хорошо быть чем-нибудь вроде спички
и ее шершавого огонька,

чтобы только те, кто случился рядом
— человек, собака или зима, —
не включили разум, покуда разом
разомкнется тьма и сомкнется тьма...

* * *

Песня песней

Здравствуй, беда, волевое бессмертье, Бен Ладен,
ладанка мора над латками бедного мира
(штопки деревьев на мятых заплатах пустыни,
сколки небес опрокинувшихся — сплошь под штрипками
волн разбежавшихся), здравствуйте, Ноевы твари,
сколки Эдема в склянках изгнания, в пупырышках страха...

Здравствуй, Конь Блед, Иоанново перышко, бредом
спасшее Слово, чей посох пастуший, где — бродом,
где — на дыхании выведший нас на созвездья...

Холодно, Всадник, и весело, Всадник, и грустно.
Руку тяни или выпусти сердце на волю —
нет мне надежды на то, что однажды голубка
перышко выронит или же ветвью оливы
их осенит... Разбегайся, не медля, Улитка,
крылья свои расправляй, Черепаха... Голгофа,
когти когти — собираясь на встречу с бедою,
спрячусь в ракушке, панцирем веки прикрою...
Силы теряя, попробую я разминуться
с жадной Голгофой, ладанкой мора гремющей...

* * *

И рот разверст, и уши,
и сердце вразной —
для ласточки заблудшей
и тучки прилудной.

Прекрасно песнопенье,
решившееся в прыть
земное тяготенье
небесным перебить.

И что бывает лучше
земного, но слегка —
при ласточке и тучке
летающего стиха!

А от прилудной склоки
— и в глаз она, и в бровь —
загустевают строки,
и легкие, и кровь...

Песня песней

А коли жизнь и правда повторима,
как железнодорожные столбы, —
я вздрагиваю: дочь Ерусалима
из Песни Песней,

из второй строфы,
невесте даденной, является:

«Доколе
ты пьянствовал, мой мирровой пучок
уж у грудей...» —

и влажные ладони —
голубками — к бедру и на плечо...

И мнится мне: под небом Приангарья,
на улице Трилиссера и там,
где вечный жид играет на гитаре,
где злой чечен читает по складам, —
и кедры в радуге, и виноград на блюде,
и кипариса тонкие листы...

И вздрагивают маленькие груди,
как самые тяжелые цветы;

и слово за слово, дыханье за дыханьем,
минута за минутой, и вот —
до петухов и с ними,

с петухами,
и после них — свирель моя поет,

и яблоко за яблоком,
и день ли
иль ночь — неведомо,

и слез не удержатъ:
как много нас, как мало Иудеи —
накрыл плечом и вот уж не видать!..

Заклинание

Надо долго-долго жить —
долго с женщиной встречаться,
долго с нею расставаться —
десять суток не звонить,

и глаза ее, и губы
в черной водке растворить...

Надо долго-долго жить —
двести суток не звонить,
чтоб не видеть —
монастырской
тишиною окружить:

запереть однажды в сердце,
под березу положить...

Два человека

Из наставлений Варваре

Человек поющий всегда красивей
человека думающего. Взгляните —
если первый, выбравшийся от Вакха,
от вина тяжелей виноградной кисти,
то зато при песне пушинки легче:
волооки сердце его и губы,
волооки печень его и ребра,
разве только ноги его безглазы,
но зато по сути своей вакхичны.

А теперь поющего мы оставим,
чтобы вздрогнуть, думающего наблюдая:
он сидит, набычившись вроде Зевса,
перепуган мыслию, будто крысой,
в ожидании светлой мысли мрачен,
в ожидании чудной мысли страшен...

Если уж по правде, то мне милее
человек поющий — предпочитаю
не Сократа думающего — Орфея,
перебравшего лиру — по влажным струнам, —
будто мы перебрали с тобой землянику,
отчего все сущее — землянично,
то есть мы с тобою, а с нами — мама
и Сократ, который еще не знает,
что поющий прекрасен, ибо вакхичен,
а еще — орфеен и земляничен...

Попытка наставления

Приходи и пой — как тебя учили:
чтоб четыре шкуры с тебя сошли,
чтоб лучиться (поскольку тебя лучили),
чтоб светиться (поскольку тебя секли).
Приходи и пой. Потому что песня
не спасает, но коли пришла беда,
и беде, и песне верней быть вместе
(разлучать их можно, но иногда).
Приходи и пой. Ты и сам с усами,
то есть, если по бабке, и сам с усам,
ибо верно поющий отчасти с нами,
а отчасти без нас —
много чаще сам
по себе: Вергилий ему мешает,
и Гомер напрасно ему ворчит...
Если кто поющего и выручает,
то — рыбарь небесный, что взор смежает,
потому что лучина его ослепляет,
и поющий пылает, а Он лучит...

Янтарный день

Янтарный день — он замкнут на себе,
на ласточках, разбившихся попарно,
на женщине, которой в серебре,
и в жемчугах, и в золоте — янтарно.

Он из затей янтарных, из сластей
янтарнейших (поболе, чем по ГОСТу),
он в сквериках — с букетом из детей,
с букетом из старушек — у погоста...

Поедем, друг мой, а верней, пойдем
куда-нибудь, но так, чтобы на звуке
янтарнейшем споткнувшись, янтарем
забить глаза и переполнить руки.

В такой янтарный день наверняка
янтарный луч на станции товарной
подскажет: Иисусова рука
в нагорном янтаре была янтарной...

* * *

Роману Солнцеву

Примнится — и снег, и вода
усталому сердцу подмога...
Дорога незнамо куда,
а на небо глянешь — до Бога...

Причудится — боль и беда
старинному сердцу подмога...
Бредется незнамо куда,
а под ноги глянешь — от Бога...

* * *

И столько всего такого —
и запахи, и слова —
и «солнышко» через слово,
и «золотко» через два;
и перышко из подушки,
и карточка: монастырь,
и старая книжка: Пушкин,
и новенькая: Псалтырь;
и Шишкин над фортепьяно,
и очень издалека
хозяйюшка со стаканом
поющего молока...

* * *

...и пойдя — догадайся, пойми — попробуй,
отчего: то шарфик на мне скрестит,
то свои ладони; и впрямь, с чего бы
порешила мучить меня до гроба —
и стишки, и душу мою скрести;

то щадит, то милует... — не за то ли,
что — Ея Величества поставщик мур —
я водился с небом, якшался с полем, —
подавалась в укротительницы запоев,
нанялась в усмирительницы хандры;

разберись — попробуй, где сушь, где море,
что картавит ворон, что — соловей,
и кому — на радость или на горе —
я пишу об этом, будучи в ссоре...
мне казалось: с миром, а вышло: с ней...

* * *

Одни уводили меня в моря,
другие вели в молву,
а ты — река, по которой я
полжизни своей плыву,

и берег невидим, но коль ему
приспичит мелькнуть на миг,
я наше течение с себя сниму,
как осенью — дожdevик,

собью ракушки с колен, с груди —
лодки и якорьки... —

так ты с колечек сняла бигуди,
колечко сняла с руки...

* * *

Только подумаю, что со мной стало —
разом полынь на губах:
все, чем я мыслил себя, пораспалось
в урночках или в гробах...

Комья на крышках, звезды на крышах... —
Вот вам и весь матерьял
жизни, что трогал, правды, что слышал,
радости, что растерял...

* * *

...и все дорога нам: тропинка ли, нора, —
все топаем: Гоморра ли, Содом ли,
и кто ни встретится — все брат или сестра,
племяшки, тетушки, и с кем мы ни сойдемся —
все родственники: ласточка, трава,
окно зашторенное или же без шторы,
и музыка, которая слова —
как малышей — сажает на закорки...

А там, где мальчики при жгучих кистенях
то лбы набычат, то ладони стиснут,
где девочки в жестяных кителях
то скажут «Ва», а то в три пальца свистнут, —
туда не ходим мы, притом, что их костры
для нас и из-за нас поют и пляшут...
Пустыня шумная: ни брата, ни сестры,
ни тетушки и ни племяшки...

* * *

Вы скажете: темно...
Темнее не бывает,
притом что ни вино,
ни жизнь не убывает...

Вы скажете: пора, —
и не пойдете дальше.
Но долог бег пера,
а крови — еще дольше...

Вы скажете, что нет
и не бывало Бога,
тогда — откуда свет,
к кому — тогда — дорога?..

* * *

...если безумствовал, то оттого, что в тумане
воля вольнее: стаканы без дна, да и мысли —
жизни на донце...

...если и мучился, то потому что за дверью
счастье мерцало, придерживая за локоточки
Олю и Варю...

...если завидовал, то Бальтазару, Гаспару
и Мельхиору — то вспыхивали, то погасали
они за окошком...

* * *

Солнышка натекло
в комнату по кровать —
вот уже и тепло,
стоит ли горевать.

Вот уже и шмели
вышумели наш дом —
что-то да принесли,
значится, не помрем.

Да и пчела — смотри! —
что над крылом твоим,
светится изнутри
ладаном восковым.

Будет и радость, с чем
встретить — попотчевать:
матушка при свече
и при лампадке — Мать.



Содержание

В. Науменко, Г. Сафонов. Неизбежность начала 5

Вечер в провинции

Весна	10
«Я школьник, я Блока читаю...»	12
Весна в седьмом классе	13
«Осень. Кажется, сентябрь...»	15
Маленький тарантас	16
«Ты не знаешь, что в ночи долгие...»	18
Зимние деревья	20
Улица	22
Вечер в провинции	24
Стихи про осень и про дворника	27
Одесские стихи	29
«Жизнь моя городская!..»	31
Тетрадь из Михайловского	32
Стихи о том, как плыли мы к морю Лаптевых	33
«Ночами в родительском доме...»	35
«Ни реки, ни птицы, ни волки...»	36
«Лист легко и торжественно...»	37

Яблоня

Первые танцы в солдатском клубе	40
«Только-только пилотки надели...»	42
Осенью, когда летят журавли	44
«Я в лес хотел...»	47
«Та женщина, которую люблю...»	50
Возвращение	52
«Хочу, чтобы меня любила ты...»	53

Игра	54
«Итак, раскроем нотную тетрадь...»	55
«До чего же я жил бестолково...»	56
Вечер из детства	57
Письмо, которое не будет отправлено	58
«Как это ни печально, но писать...»	59
«А почему бы не о быте!»	61
«Разбужен псом, который мной любим...»	62
Начало осени	64
Ночь листопада	71
Стихи об очень грустном человеке	73
Стихи о покойной Анне Ивановне Голубцовой	75
Стихи о зябках... ..	77
Лирический монолог	80
«Мне нравится, что в городе моем...»	82
«Когда б я жил столетие назад...»	84
«Когда последнее окно...»	85
«Тогда весна в то утро началась...»	88
«С песнями не стоит торопиться...»	90
«И ветра перетоп, и капля дождевая...»	91
«Я уверен: колени обняв...»	92
«Десятый час. На улице темно...»	94
Яблоня	95
«А ночью разбудила мысль о том...»	97
«В детстве я книжку украл...»	98
«Я однажды лежал на зеленой траве...»	99
«В зеленом доме женщина жила...»	100
«Снег уже почернел...»	101
«Когда инопланетный звездочет...»	103
Послание друзьям	104
«Переулков и дворов...»	106
«При всем при том в том городе...»	108
«Сначала — одуванчики, потом...»	110
«Тонко-тонко пахнет подорожник...»	111
«Зимой, весной, осенью и летом...»	112
«И снег идет, и вишня расцветает...»	113

Записки натуралиста	114
Капелька жизни. Записки незнакомца	127

Рогня

Визит	132
Из семейного альбома	134
«Там все как прежде было...»	136
«Мир еврейских местечек...»	138
Стихи о моем парикмахере	140
«Сентиментальным становлюсь...»	142
Воспоминание о счастье	143
Солдатская фотография	146
Пианино	147
Записки солдата	150
Невезение	160
Прощание с оврагом	161
«Баба Сима померла...»	162
«И снег пошел, и стало тихо...»	163
«Я видел дочь мою, которая живет...»	164
Две колыбели	165
Колыбельная	167
Дневник полночи. Немецкая готика	169
Возвращение к другу	172
К музе с кузнечиком	175
«Из юности я помню только утро...»	176
«На секретном авиазаводе...»	178
«Встретил и память свою погасил...»	179
«Старый мост размахнется в разбеге...»	180
«Тихая, добрая, злая...»	181
«Мне нравятся чудачества твои...»	182
«Я живу не лучшим образом...»	183
О весне	185
«Спасибо лесу...»	187
«Я их не стану петь...»	188

«В городе этом под этой луной...»	296
«Я бы обнял тебя, убаюкал бы враз...»	297
Бегство в Египет	298
Монотонная песня	299
Веселая песенка	300
«Я к вам приеду, но — потом...»	301
Иерусалимский ослик	302
«Знайте, что я вас помню...»	303
«Чем дале, тем темней... Отважиться, решиться...»	304
Попытка анкеты — 41	305
Ависага	307
Корзинка	308
Полотна Шагала	310
«Вот и зима...»	314
«И пошло с бесконечностью наперевес...»	315
«Из одра и сна воздвиг мя еси...»	317
«Полугорсть бытия, говорящая плоть...»	318
«Лето Господне»: и Марк, и Матфей, и Лука, и...»	319
«Картающие щеколды, заикающиеся крючки...»	320
Старый джазмен	321
Очерк	323
«В подвале художника крыса жила...»	325
Старая барменша	327
Монолог	329
«Приходили деревья из белого сада...»	330
Русский роман	332
«О деде и славе...»	334
«Когда проснусь от яркого огня...»	335
«Лист опальный, лист летучий...»	336
«...и длинных свиданий густая и вязкая тина...»	337
«Я-то и прежде об этом не мог...»	338
«Здравствуй, я говорю вам, лесные, степные...»	339
«Знать бы мне, что я не знаю...»	340
«...и все, что видимо, то завтра будет тем...»	341
Автоэпитафия	342
«Все, что я слышу или же недослышу...»	343

«А пока не погасли гирлянды...»	344
«В той области — за тридевять морей...»	345
«Любить июль, которого к осе...»	346
«Им в радость ласточка...»	347
«Петь глупости, влюбляться в чепуху...»	348
Осень	349
Круг	352
«Пламень Господень, все, что вчера превратил ты...»	356
«А когда я подумал, что мы уедем...»	357
«Человек рождается, вырастает в мужа...»	358
«Если по правде, памяти больше нечем...»	359

Послушанье гулу

Двойник	362
«...дудочка моя, дружок...»	364
«Надо долго-долго жить...» Из наставлений Варваре	366
Утро	367
«Как только — ножку приспустив...»	368
«Чтобы ты чуть-чуть отвык...»	369
«...взгляд страстотерпицы на жизни страстотерпцев...»	371
«Корешки и корни, которыми впрок начинают...»	372
«Пусть между нами случится ворона...»	373
«...и не устал, и устал ласточек кликать, отчизне...»	374
«...и хвастовство прости мое, и страх...»	375
«Говори, покуда во тьме угрюмой...»	376
«...и мне подумалось в тот раз...»	377
«Когда строка, уставшая от странствий...»	378
Вот нам и осень. Прогулки с Варварой	379
«Эти капризы рыхлой резьбы по кругу...»	380
«Сумерки... Она — по локоть в фарше...»	381
«Торопясь на рюмочку к бабе Маше...»	382
«Топнул Борей сапогом...»	383
Три портрета	384
«Приходила бабушка — та, что русская...»	385
«И в этом быть, и в той — и тем, который плачет...»	386

Еще только два стихотворения	387
«Я человек дороги...»	389
«...и если вышло так, что выпала дорога...»	390
Прогулки	391
«У Андрея — куда ни пойдет он — Пушкин...»	392
«...я устал, я путаю имена их...»	393
Вторая тетрадь из Михайловского	394
«...перераненный, перебитый...»	396
Темнота. Из наставлений Варваре	398
«Покуда нас от жизни берегут...»	399
Стансы	400
«...и трубы медные, и всполохи огня...»	401
«Тот грустный человек, с которым я знаком...»	402
«Занимаясь веселым делом...»	403
«В этом мире, в котором, как в рукавичке...»	404
«Здравствуй, беда, волевое бессмертье, бен Ладен...» ...	405
«И рот разверст, и уши...»	406
Песня песней	407
Заклинание	409
Два человека. Из наставлений Варваре	410
Попытка наставления	411
Янтарный день	412
«Примнится — и снег, и вода...»	413
«И столько всего такого...»	414
«...и пойдя — догадайся, пойми — попробуй...»	415
«Одни уводили меня в моря...»	416
«Только подумаю, что со мной случилось...»	417
«...и все дорога нам: тропинка ли, нора...»	418
«Вы скажете: темно...»	419
«...если безумствовал, то оттого, что в тумане...»	420
«Солнышка натекло...»	421

Издание этой книги осуществлено благодаря финансовой поддержке
Комитета по культуре администрации Иркутской области

Кобенков Анатолий Иванович
Строка, уставшая от странствий...
Стихи разных лет

Составители В. Науменко и Г. Сафронов

Художественное оформление *С. Григорьев*
Технический редактор, компьютерная верстка *Е. Бер*
Компьютерный набор *Е. Самсонова*
Корректор *О. Самсонова*

ISBN 5-94535-024-9



9 785945 350243 >

Издатель Сапронов

664015 Иркутск, ул. К. Маркса, 22, оф. 47,
тел./факс (3952) 33-42-56, e-mail: bgvector@mail.ru

ИД № 04332 от 23.03.01

Формат 80x100 1/32

Бумага офсетная. Гарнитура Mysl Narrow

Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,99

Тираж 1000 экз.

Заказ № 3687

Отпечатано с диапозитивов заказчика

в ФГУИПП «Советская Сибирь»

630048 Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104



[Faint handwritten notes in Cyrillic script]

